БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ЕЛЕНА ГРУШКО

КАРТИНА ОЖИДАНИЯ

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190

БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ЕЛЕНА ГРУШКО

КАРТИНА ОЖИДАНИЯ

Сказочно-фантастические повести и рассказы

МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
1989

ББК 84Р7
Г 91

Грушко Е. А.

Г 91 Картина ожидания: Сказочно-фантаст. повести и рассказы / Предисл. И. Семибратовой. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 256 с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

ISBN 5-235-00989-4

Рассказы и повести молодой писательницы из Горького Елены Грушко — это сказочно-лирическая фантастика. В книге оставили след и увлечение автора фольклором, мифологией, и годы жизни на Дальнем Востоке. Не столько причуды сюжета привлекают Елену Грушко, сколько волшебные превращения души человеческой во внешне обыденных, а по сути чудодейственных ситуациях, на которые столь щедра жизнь.

Г $\frac{4702010201-164}{078(02)-89}$ КБ—057—040—88

ББК 84Р7

© Издательство «Молодая гвардия», 1989 г.

ISBN 5-235-00989-4

ВОЛШЕБСТВО НЕ СТАРЕЕТ

По мнению врачей-психологов, сказки снимают у детей стрессовое состояние, помогают почувствовать себя увереннее в жизни. Ведь так прекрасно, что сказочный герой, борющийся со злом, побеждает, и так радостно, когда все кончается хорошо, торжествуют силы добра и справедливости. Очевидно, подобный заряд оптимизма необходим не только ребенку, но и взрослому, а потому книга сказочно-фантастических произведений Елены Грушко читается буквально залпом. При этом сочетание по-новому трансформированных авторской фантазией знакомых по фольклору образов и ситуаций с причудливо развивающимся сюжетом, насыщенным деталями реального современного быта, придает содержанию сборника особое обаяние.

Действительность предстает в повестях и рассказах Е. Грушко в своеобразном, сулящем узнавание ракурсе, окутанная легкой дымкой фантазии — то лукаво-ироничной, то лирически-задумчивой, но неизменно наполненной квинтэссенцией Добра, глубокой привязанностью к родному дальневосточному краю. Однако не реальная река Амур, но сказочный Обимур несет свои воды на страницах книги, а среди действующих в ней лиц — не только работники, например, институтов, или инспектора угрозыска, или страдающие от одиночества обыкновенные женщины и мужчины, но и волшебницы-колдуньи, чудесные, наделенные даром общения цветы, пришельцы из иных миров...

Переплетение фольклорно-сказочных традиций с сугубо будничными проблемами сегодняшних дней, яркое высвечивание с помощью фантастических приемов и образов актуальных нравствен-

ных болевых точек современности — таких, как охрана окружающей среды, девальвация человеческих чувств, отсутствие взаимопонимания и доброжелательности между людьми, — все это входит в зону пристального авторского внимания, определяет специфику творческой манеры.

Так, Настасья, героиня сказочно-фантастической повести «Лебедь Белая», живет как бы двойной жизнью: каждодневным бытом замотанной, издерганной работой и окружающими мелкими неурядицами женщины — редактора радиокомитета, и причастностью к высокой судьбе прекрасной в ореоле трагической любви сказочной Белой Лебеди. Контраст жизни и сказки стилистически подчеркнут Е. Грушко то намеренно огрубленной, отрывистой, жесткой лексикой, гротескно очерченными характерами персонажей и ситуаций в повествовании о Настасье, то напевно-сказовым строем речи, лирическими картинами и романтически-приподнятыми образами героев в притче о Лебедушке. Дополняющим комментарием входит в ткань произведения переписка автора с героиней, где сквозь некоторую ироничность письма пробиваются серьезные мысли о высшей нравственности, которая основана на любви, о человеческом достоинстве и необходимости неравнодушного, творческого отношения ко всему на свете. Волшебная сказка о Лебеди, ставшей женщиной, преображается в фантастическую притчу наших дней, исполненную глубокого смысла, ведь затронутые в ней проблемы любви, морали, быта при всей их сегодняшней актуальности — вечные.

Хорошо знакома по фольклору и тема змееборства, победы над Змеем, олицетворяющим Зло. В сказочно-фантастической повести «Цветица» автор по-своему раскрывает ее, рассказывая о женщине по имени Майя, мечтающей о ребенке; о колдунье, помогающей ей преодолеть одиночество благодаря необычному неземному цветку — Цветице, общение с которым дарит радость. В повести много чудес, превращений, фантастических образов и ситуаций. Змей-искуситель, вторгшийся в жизнь Майи, символика и магическая сила трав, сцена ворожбы и заклинания Любимого — богатыря, удивительный цветок, спасающий человека ценой собственной гибели, история Катерины-одиночки и многое другое своеобразно переосмыслено автором в духе народно-поэтической традиции.

В рассказах сборника торжествует животворящая сила любви

в самых разнообразных проявлениях. В «Картине ожидания» память о минувшем счастье фантастическим образом дает возможность лю-бящей женщине «изъять» из окружающего пейзажа те места, с ко-торыми было связано ее чувство: кусочек реки и сопки, скамью и дорожку с фонарями в парке и прочее, причем на их месте обра-зуется серая пустота. Реализованная буквально метафора «унести в воспоминаниях» выглядит хищением народной собственности, на что соответственно реагируют следственные органы. Однако возвра-щение «украденного» приводит к совершенно неожиданному ре-зультату...

Рассказ «Чужой», раскрывающий психологию поведения живот-ного — сына волка и собаки, восходит к традициям нашей класси-ки и свидетельствует о еще одной грани фантастического изображе-ния действительности в творчестве Е. Грушко — автора, безусловно, одаренного, владеющего многообразными формами фантастики в строгом подчинении их поставленным задачам.

Видимо, стремлением к исконно народному началу, предложением различных вариантов решения традиционных сюжетов и тем осо-бенно притягательна сказочная фантастика Е. Грушко. Ибо во все времена существования человечества людям не прожить без уверен-ности в том, что в конечном счете Добро победит Зло, а Красота спасет Мир. Потому и не стареет волшебство сказочника, вновь и вновь сплетающего красочный узор вымысла из нитей действитель-ности.

И. Семибратова

ЦВЕТИЦА

Посвящается Маше

Она горит, твоя звезда, природа...
Н. Заболоцкий

Жила-была одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось маленького ребеночка. Вот пошла она к колдунье и сказала:

— Мне бы очень хотелось, чтобы у меня была дочка. Не скажешь ли ты, где мне ее взять?

— Почему не сказать? — ответила колдунья, поднимая рассеянный взгляд от больничной карточки. — Почему не сказать? — повторила, погружая взор в глаза Майи, и та подумала, что врач, конечно, поймет ее беду и поможет.

— Все проходит, — сказала колдунья как бы между прочим. — Ты об этом знаешь?

— Слышала, — коротко ответила Майя.

— Слышала? — Брови колдуньи приподнялись. — А ведь ты уж далеко не девочка. Прописные истины пора поверить собственным опытом.

Майя только плечом повела.

— Да, да. Как это ни печально, ничто не вечно под луной.

Майя невольно глянула в окно, до половины прикрытое белым шелком шторок. Известно, что никогда закатую не настичь рассвета. Но есть при угасании дня особая пора — встречи бледной, еще немощной луны и уже усталого солнца. Как раз настал этот миг, и Майя подумала: «Зачем вообще встреча, если она кончается разлукой?»

— Мужчины все одинаковы, — встряхнул ее голос колдуньи. — Это тоже истина, к которой рано или поздно приходит любая женщина.

— Я никогда не выйду замуж, потому что не смогу забыть Его, — хмуро ответила Майя. — Объятия другого мне отвратительны.

— Не зарекайся.

— Это — истина для меня. Но выходит, что я зря обратилась к тебе? Ты не в силах мне помочь?

— Почему же? Вот тебе зерно. Это зерно не простое, не такое, какие растут на крестьянских полях и какими кормят кур. Посади это зернышко в цветочный горшок...

— **Я правильно поступаю?**

— **Верю тебе.**

— ...потом увидишь, что будет.

— Спасибо! — вскричала Майя, легко и радостно вставая, и выскользнула в коридор поликлиники, стиснув зернышко.

Душа ее сияла в этот миг. К тому же оказалось, что на дворе весна. Проклюнулась трава, первые одуванчики уже сигналили солнцу. Майя мигом сняла шубу и шапку — когда она шла к колдунье, дорогу заметал январь, — и ускорила шаг, надеясь добраться до дому прежде, чем станет невыносимо жарко в шерстяном платье и сапогах.

«Пожалуй, это конец апреля! — весело думала

она. — Или даже начало мая. Самое время сажать зерно!»

Однако она не утерпела и позвонила из автомата подруге. Ту не зря звали Умной Эльзой — сразу начала мудрить:

— На твоем месте я не очень бы доверяла какой-то там колдунье. Хоть проверили, зерно всхожее? А вообще ты представляешь, кто родится в цветке?! Дюймовочка! Это только звучит красиво. Дюйм — по-нашему два с половиной сантиметра. Представляешь — дочка?! Как ты ее покажешь людям?

Бросить трубку было нельзя — Эльза обиделась бы навеки. Майя еле дождалась, пока разумные доводы подруги иссякнут. Наконец она простилась с Эльзой и со всех ног бросилась домой, потому что зернышко в кулаке, казалось, шелестит и стрекочет от нетерпения подрасти.

Дома Майя посадила зернышко в цветочный горшок. Только она его посадила — семечко сразу дало росток, а из ростка вырос большой чудесный цветок, совсем как тюльпан, только не красный и не черный даже, а нежно-сиреневый, невиданного, тревожного оттенка. Но лепестки его были прочно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

— Какой прелестный цветок! — сказала Майя и поцеловала красивые лепестки.

И только она поцеловала лепестки, там, внутри, в бутоне, что-то щелкнуло, и цветок раскрылся.

* * *

Собственно говоря, именно этот миг Майя пропустила. Вот уж, действительно, умудриться проворонить самое главное, сказала бы Умная Эльза. Но лишь коснулась Майя цветка губами, как за ее спиной резко шумнуло, будто яблоко упало в траву.

Какое яблоко, какая трава?! Привычка за спиной,

ничего более. Привычка комната, привычка одиночество, привычка жизнь... Но комната вдруг наполнилась голосами. Кто-то смеялся и плакал, звонко распевал и скрипуче бранился, торжественно клялся и издевательски хихикал... Однако в том-то и дело, что голос был один. Это был, без сомнения, женский голос. Или детский. Ну, в крайнем случае, мужской. Но уж конечно — человеческий. А может быть, и нет.

Майя снова приблизила лицо к цветку. Но сердцевинки его — обычной сердцевинки с пестиком, тычинками и пушистой пыльцой — не увидела. Там что-то струилось и переливалось, и все это было сиренево-серебристое, с опаловыми облаками. Мелькание все убыстрялось, оттенки веселились. Но это уж от усталости в глазах рябит, подумала Майя.

Между тем побежала за окном улыбка заката, на землю обратила свой [illegible] взор луна. Майя с трудом оторвалась от созерцания удивительного цветка. Пора спать! Она побрела к постели, и одежда сыпалась с нее, будто яблоки с утомленной яблони. Простыни холодно мерцали. Майя зябко свернулась, стараясь не глядеть в сторону сиреневого сияния, прикрыла ладонями глаза, призывая к себе сон, и наконец-то уснула, и всю ночь на нее смотрели лица то ли людей, то ли звезд, то ли трав, но были те травы высоки и заглядывали в комнату снисходительно, как звезды. Иногда Майя просыпалась и видела, что луна не отходит от окна и настойчиво смотрит в сонное лицо цветка, стоящего на подоконнике. Ночь бежала мимо дома, не сминая трав. А на рассвете Майя услышала торопливо удаляющиеся шаги, бег, скок и трепет листьев.

* * *

Ах, как чудесна была та неспокойная ночь! Но утро завистливо изгнало ее, и над землей задрожал зыбкий зимний рассвет. Да, опять пришла зима, от вчерашнего

апреля-мая не осталось и следов: все их замело. Сопки вдали, за рекой, были похожи на большие синие сугробы.

Майя подошла к окну. Цветок поблек. Сейчас он напоминал озябшего котенка. Цветок да и цветок, ничего особенного!

Раздался отдаленный рокот, засветилась молния. Среди зимы? Не к добру это. Быть беде!

У ворот, закачавшись, как от последней усталости, остановился автомобиль, и кто-то черный проскользнул в подъезд.

«Конечно, все это мило со стороны колдуньи, — сердито подумала Майя. — Ложь во спасение. Гомеопатия, траволечение — как это называется? Лучше бы мне сразу обратиться в Дом ребенка. Но могут не дать мне дитя на воспитание. Так и останется мне одиночество...»

Одиночество неслышно прильнуло к ее спине, грустно дыша в затылок: «Привыкай, такая твоя судьба...» Майя досадливо отстранилась и взяла телефонную трубку. «Позвонить колдунье. Нет ли еще какого средства? И Умной Эльзе. У этой везде блат. Может быть, и в Доме ребенка тоже?.. Я больше не могу, не могу, мне нужно любить и беречь, иначе сердце остановится во мне и я умру».

Оказалось, зимняя молния накликала-таки неприятность: телефон не работал.

Майя заметалась по комнате. Воспоминания начали нанизываться, как петли на спицы, и вот уже протянулось целое полотнище. Ведь так уже было в ее жизни — не работал телефон. Тогда она ждала звонка и не могла понять, отчего его нет. От ожидания она обессилела, словно от потери крови. А потом оказалось, что звонили ей, звонили! Однако предатель телефон затаился и промолчал. А заговори он тогда, отзовись... Может, Любимый остался бы жив? Может быть, Майе удалось бы уговорить, умолить, уплакать его отказаться от бредовой мысли — заглянуть в глаза Природе? Нет, Любимый не поговорил с нею и уехал без ее слез и благословений.

Сколько писем улетело легким клином сизокрылым вслед ему... Ответа Майя так и не дождалась. Только тучам оставалось молиться: «Уходит облако — потемневшее, отяжелевшее. Оно словно бы впитало в себя мои слезы. Где устанет оно носить их над землей? Они прольются, люди скажут — дождь. Коснется ли хоть одна капля твоего усталого лица?»

Теперь-то она поняла, что, когда человек долгое, долгое время живет лицом к лицу с Природой — в море ли, в тайге, среди полей и хребтов, — он уверен, что остается самим собой. Но это невозможно, нет, он не прежний. Он дышит воздухом Природы и думает ее думу, и эта дума начинает кружить ему голову, и он решает остаться с Природой навсегда — чтобы всегда смотреть ей в глаза. А говорят, заплутался в тайге, утонул, упал со скалы — какая глупость! Он самозабвенно рыщет среди деревьев, волн, камней, но не найти ему дороги назад, да и не ищет он ее...

И вот снова не работает телефон. Кто знает, что скрывает его молчание на этот раз? Нет, надо немедленно позвонить соседкой и вызвать мастера.

Майя вышла в подъезд. В стекло било холодное раскаленное солнце, черный силуэт маячил у двери напротив. Майя обогнула его, притронулась к кнопке звонка, но дверь не отворяли: очевидно, соседки-старушки не было дома.

— Нет ее, нет, — подтвердил мягким баритоном черный силуэт. — Я тоже ее жду. Вызвала телефон отремонтировать, а сама ушла. Забыла, вероятно.

— Вот повезло! — сказала Майя. — Может быть, вы заодно и ко мне зайдете? У меня тоже сломался телефон.

Солнце ушло из окна, и у силуэта образовалось лицо. Ох, задуматься бы Майе: что же это за человек, лицо которого видно лишь во мраке, а на свету оно пропадает? Но она отметила лишь, что это красивое лицо. Мастер что-то говорил, но губы его не шевелились. Ка-

залось, рот его сжат навечно, и не только словом, но и поцелуем не разомкнуть его. Еще бы! Так он скрывал, что вместо языка у него — змеиное жало. И Майя не увидела жала и впустила незнакомца к себе в дом. А то был Змей. Надо сказать, он действительно был славен своей красотой, и уж давно люди знали его силу. Сколько бедных женщин он погубил на своем веку, и даже Ева была не первой среди них. Искони предостерегают женщин от Змея: «Не любя полюбишь, не хваля похвалишь такого молодца; умеет заморочить он людей, душу красной девицы приветами; усладит он, губитель, речью лебединою молодую молодицу; заиграет он неприглядную в горячих объятиях, расцелует он, варвар, уста алые. От его поцелуев горит красна девица румяной зарей; от его приветов цветет она красным солнышком. Без Змея красна девица сидит, во тоске, во кручине; без него не глядит она на белый свет; без него она сушит, сушит себя!»

Но Майя не знала этого, и теперь пришла ее очередь. Змей особенно опасен, потому что он всегда является именно тем, кого хочет видеть женщина, будь то прекрасный юноша, или мудрец с яблоком познания в кармане, или телефонный мастер. Он почуял в Майе ожидание весны, а ведь именно в пору ожидания весны пробуждаются змеи...

Телефон, однако, он починил мгновенно, как будто вступил в сговор с медной проволокой. Майя благодарно улыбнулась Змею и тут же на миг оцепенела под его взглядом. Словно за спасением подошла она к окну. За стеклом клубился морозный туман, и дома напротив были похожи на затонувшие корабли. Головы прохожих плыли отдельно, а тела растворял туман.

— Как уныла, черно-бело-однообразна зимняя толпа. И только женские лица оживляют ее, словно розовые цветы болиголова. Не правда ли?

Над ухом Майи словно сквозняк просвистел. Она повернула голову, чтобы возразить: болиголов цветет бе-

лым, но тут Змей стиснул ее в объятиях и ужалил в рот. И сразу стемнело — ведь страсть всегда рыщет впотьмах.

Отравленная, Майя упала бы, но он держал ее не только руками, он окольцевал ее всем телом. Она задыхалась, но губы онемели от укусов Змея и не давали прорваться стонам. Она сама себе показалась змейкой, которая линяет, потому что одежда сползла с нее, как узорчатая кожа, и тело стало гибким, бескостным, их языки свились, будто разогретые жаром ртов змей, и ноги, и руки, и тела переплелись, и Майя перестала дышать...

Наконец она почувствовала свободу и смогла вздохнуть омертвелой грудью. Змей уже стоял у двери, косясь на Майю золотистым глазом.

— Слышу, пришла твоя соседка. Надо оправдать вызов. А тебя я еще найду. — Он провел рукой по косяку и выскользнул из комнаты.

— Почему ты не дала мне спасти ее?

— Во-первых, я не сразу увидела железную булавку в косяке. А потом — от чего спасти?

— От этого ужаса.

— Это не ужас. Это жизнь. Иначе Майя умерла бы с тоски.

— Зачем тогда я?

— Ты еще скажешь свое слово. И очень скоро.

* * *

Майя сидела на полу, прижавшись спиной к батарее отопления. Подкрался с улицы Поземщик, обнял ее колени, приник очами к очам, велел: «Стынь!» Она покорно застывала, и с этим холодом не справиться было отопительной гармошке.

Сколько сидит Майя вот так, на полу? Заря не мигая смотрит в окно, но скоро солнце снова уйдет из города, да жаль, что не навсегда, а только на ночь.

Уйти бы вслед за солнцем и луной! Холодно, холодно. А когда-то она засыпала, и Любимый убаюкивал ее, еле слышно целуя в голову. И не было тогда рядом, конечно, Поземщика, весь мир грел ее. Слово «тепло» было равнозначно слову «любовь».

Но что это? Отопления прибавили, что ли? Волны приятного жара поплыли по телу. Отпрянул от коленей Поземщик, испарился из комнаты. Можно расправить окоченевшее тело, открыть глаза.

Все ласково и тепло кругом, но кто сделал это? В комнате пусто, темно... Нет, не темно. Льется с подоконника серебристо-сиреневый свет. А, цветок!..

— Ты снова раскрылся, цветок? Ну что же, сияй, если не умеешь ничего другого. Но... где же было твое сияние, бездушное и бездумное создание? Тебя дали мне на утешение, на спасение моей окоченевшей души, но вспомни, как ты утешило меня? И глаз своих сиреневых ты не открыло, чтобы увидеть этот кошмар!

— Я видела. Глаза — они не все увидеть могут. Я видела — иначе, может быть, но ничего не скрылось от меня.

— Ох, видела она! Да чтоб тебе иссохнуть! Чтоб вверх корнями прорасти тебе, вонзивши венчик в землю!.. О боже, как я говорю! Прямо шекспировская героиня. Да и цветок... Чревовещатель!

— Не обижай цветы убожеством подобных мыслей. Одумайся, взгляни: не зря мороз, волшебный живописец, рисует на стекле не очи жаркие людей, не лики скорбные животных, а мир цветов, диковинных, магических растений. Ну и звезды, ведь без звезд нельзя. Что? Призадумайся!

— Мороз рисует нам на стеклах мир растений, потому что... Ох, привязался этот слог! Да, так вот: что мы хотим увидеть, глядя на морозное стекло, то и видим.

— Быть может, это так. Но значит, что хотите видеть вы один растения — цветы и травы?

На это ответить было нечего. Да и что мог ответить бедный, свернувшийся в клубочек от одиночества разум Майи? Хотелось только слушать и слушать этот голос. Голос? Слова? В них, казалось, поют все ветры мира, а разве ветры поют словами?

— Кто ты? — спросила Майя.

Молчание..

— Не умолкай, не оставляй меня! — Она подошла к окну.

Играли звезды в середине цветка, будто пылинки в солнечном луче, складываясь в неведомые созвездия; и снова распадались, взрываясь, превращаясь в смешение лиц, городов, крыльев, полей...

— Вселенная — в цветке цветочном?! Вот так диво!

— Нет, человек стоит лицом к лицу с собой — вот в чем диво.

Это было именно так. Майе казалось, что ее душа имеет лицо и смотрит на нее же.

— Как тебя зовут, цветок?

— Что имя? Людям надо непременно заклеймить названием явление, будто это вещь, что им принадлежит от века. Все, что существует, носит ваши клейма. Не проще ль ощущать и сострадать, не называя слова?

— Да. Но ты — цветок. Вселенная. Ты вихрь метелей междузвездных. И вновь цветок. Не человек. Страдание неведомо тебе.

— Ох, ваши истины смешны — и так верны порою! Кто не живет, лишь тот и не страдает. Кто не страдал — тот не изведал жизни.

— Страдала — ты? Ты — женщина... цветка, звезды? Цветунья?

— Цвет... как меня ты называешь?

— Цветунья? Нет. Цветида? Нет... Цветица!

— Ты только что усмехалась над страстью людей всему давать названия. А теперь и у тебя есть имя. Ты не протестуешь?

— Но ведь так хотелось Майе.

— Ты будешь покорна всем ее желаниям?
— Что тебя волнует?
— Не будем забегать вперед.

* * *

В саду облаков и звезд цвела планета. Люди ее и растения пели одну общую, ладную песнь до той поры, пока людям не показалось, что голос растений слишком звонок и вообще — они занимают чересчур много места. Люди попросили соседей погесниться. Странна была эта просьба. Ведь украсить землю цветами — все равно, что украсить ее любовью. Но как не ответить добром на добро? Погоревали цветы, посоветовались со звездами — цветы и звезды прекрасно понимают друг друга, ведь они вечно глядят друг другу в очи, — и отправили многих детей своих в дальние дали, на поселение знакомых звезд. А на самой планете новых растений, молодых и сильных, оставалось все меньше. Однако они по-прежнему нежно обращали свои взоры к людям.

Но людям этого показалось мало. Они перестали просить — они начали требовать все больше свободного места, чтобы украшать все новые и новые пустоши грудами камней, морями вонючей жидкости и собственными отходами.

Цветы любили людей. Однако нельзя до бесконечности испытывать любовь.

И все же растения не озлобились — они затаились. Перестали приветствовать людей и отвечать им, даже сделали вид, что забыли их язык. Они много знали о планете и ее тайнах, но перестали поверять эти тайны человеку. При всем своем терпеливом могуществе они начинали провидеть разрушительную опасность, исходящую от человека, который, вечное дитя, очаровывается поддельным больше, чем истинным, и дело рук своих тщится сравнить с изделием Природы, заранее готовый присудить победу себе.

Летела, летела в небе, исчерченном созвездиями, планета, словно удивительный живой корабль. Путь ее был прекрасным и бесконечным. Но экипаж в безумной самоуверенности начал постепенно разрушать свой корабль, систему его жизнеобеспечения, рассчитанную на длинный, длительный полет. Планета заболела. А потом началось ее медленное умирание. Однако она была еще жива и, выполняя извечную программу, продолжала оберегать своих обитателей — своих разрушителей. А они не сомневались, что по-прежнему властны над собой и кораблем. Однако странно, странно! Медленное убийство планеты стало их медленным самоубийством. Сначала погибла жалость; потом занедужила память о прошлом; угасла благодарность родной планете, столь долго и верно несшей их во Вселенной; захворало преклонение перед вечной Красотой; тяжко бредила ответственность перед грядущим; уродливо нарывала созидательная сила... Ныли здоровые голоса были слишком слабы, бессильны перед общей тупой, надвигающейся, прогрессирующей болезнью. «Мы летим! Мы долетим!» — еще мечтали в своем самодовольстве люди, но куда? Как? Накормит ли их метеоритный рой, напоит ли лед абсолютного холода, согреют косматые солнца, утешит чернота межзвездных провалов? У Вселенной времени сколько угодно, а у человека?

По умирающей планете, населенной умирающими растениями, бродили умирающие люди, уверенные, что идут твердой поступью к счастью. Но только призрак памяти о прежней красоте и гармонии витал над останками растений. Их становилось все меньше и меньше. И наконец последний цветок, умирая на обломках корабля, уничтоженного своим же экипажем, взял погибающую планету под защиту. Он разметал семена свои в небе, потому что уже не было для них места — взойти. Пыль семян смешалась с межзвездной пылью. И в ночные ночи она достигала дальних миров, оставляя на них всходы странной, фантастической жизни. Каждое

из семян — такое малое — унесло в себе родную планету — такую огромную — прежней: цветущей и живой. В каждом из тех семян — память о счастье дружбы людей и растений, горечь смертельной обиды — и вечное стремление простить эту обиду, возродившись в мирах иных, вновь оживив в себе свою планету — цветов и людей.

Цветница закончила свой рассказ. Закатный розовый туман, висевший за окном, сменился ночной тьмой. И засветила свои недолговечные огни маленькая Вселенная города.

— Ты думаешь, Майя поняла, кто ты?

— Да, я верю.

— Уж слишком все это... непривычно нашему разуму.

— Природа бесконечно изобретательна. Где объять ее разуму человека. Иной раз вера нужнее понимания.

— Хорошо, тогда поясни мне...

— Тебе?! Тебе, которая создала все это!

— Да, да, мне, которая... И сама великая природа не все понимает в созданиях своих. А я всего лишь... Ну, не о том речь. Неизвестно, есть ли на других планетах люди, но цветы есть. Они это заслужили. Но почему же ты носишь людей, тех, кто сгубил твою планету, в себе, как мать носит дитя во чреве своем? Почему не даешь им погибнуть? Разве мало тебе хранить поля, реки, леса и небеса далекой родины? Зачем тебе люди?

— Никто так, как человек, не умеет радоваться красоте цветка.

* * *

Прошло некоторое время, и вот однажды в автобусе, повернувшись передать монетки в кассу, Майя увидела рядом колдунью.

— Ой, здравствуйте, дорогая колдунья! — вскричала она. — Я все хотела зайти к вам.

— Что-то беспокоит? — профессиональным голосом спросила колдунья.

— Нет, разве что невысказанная благодарность беспокоит меня. Я так счастлива благодаря Цветице... Целый мир теперь мое дитя!

Колдунья будто и не удивилась, только дрогнул в улыбке уголок рта.

— Да, я понимаю. Счастье... Давно не слышала я этого слова о настоящем. Все больше произносят с глаголами «были» или «будем». Ну что же, я рада за тебя. Лови свои счастливые мгновения. Ты увидала ленту золотую в нечесаной косе сероволосых будней. Смотри же на нее и глаз не отводи.

Майя радостно и успокаивающе рассмеялась.

— Ну вот и моя [illegible]. Но я не прощаюсь с тобой надолго, — сказала колдунья. — Имей в виду, завтра у меня прием с [illegible] до двух. — И, спорхнув на асфальт, она пошла в избушке на курьих ножках с табличкой «Поликлиника Центрального района».

«Зачем мне на прием? Странно...»

Однако вечером она уже знала, зачем ей завтра на прием к врачу.

* * *

Возвратившись с работы, Майя зашла в свой подъезд и сразу почувствовала запах... Наверное, где-то жарили лук на растительном масле. Жирные брызги этого запаха усеяли все вокруг и даже пропитали солнечные лучи, бьющие в окно. И все отвращение, которое Майя когда-либо ощущала к жизни, тяжелым мячом подпрыгнуло к горлу. Она перестала видеть, слышать, она еще успела отпереть двери, но обморока уже не помнила.

...По реке плыла лодка. На ее борту было написано: «Катерина-одиночка». Река светилась от солнца. Какие-то люди стояли на берегу, в густой тени, показывали на Майю пальцами и смеялись. Они отличались от нее

только тем, что Майя плыла по широкой реке, а люди стояли на берегу, но не было более чуждых существ в мире! И Майя легла на дно лодки, чтобы люди не видели ее.

Это был бред.

Майя оказалась в своей комнате. В незапертую дверь вошли Чужие, стали мучить смехом. Чужие были все разноликие, разноглазые, но все они были на одно лицо, одинаковые, будто покрытые общей оболочкой. А Майя лежала перед ними — одна, особенная, другая — уже не меж деревянных бортов «Катерины-одиночки», а меж ладоней Судьбы. Сначала они показались теплыми, а теперь медленно остывали.

«Если бы встать, закричать! Если бы помогли!»

Если стоял среди Чужих и равнодушно смеялся.

«Помоги! Верни время назад! Не брось меня от этого!»

Великий волшебник по имени Если посещает каждого. Сколько он сулит соблазнов! Но это все обман, туман и морок. А время — самое непреложное, что есть на свете, оно всегда уходит, несмотря на наши мольбы.

«Поземщик! Замети все мои следы и все дороги ко мне в памяти, мыслях и сердце, замети, Поземщик!»

И послушно мело, мело — по оледенелому дворцу тайги, и сквозным коридорам рек, и пустынным залам полей... И над горным озером, которое, промерзнув до дна, лежало в отрогах Сихотэ-Алиня, будто чье-то вынутое и брошенное сердце, мело, мело.

Замело следы Майи, и Чужие заблудились в метели и ушли. Поземщик прощально вздохнул и исчез. Его кто-то позвал издалека, кто-то страстно мечтал задержать вылет самолета. Поземщик опоздал, самолет улетел. Но это тоже был бред.

* * *

Когда Майя очнулась, ночь наводила мосты на землю.

— Цветица! Ох, Цветица, что со мною!
Молчала радость, жившая в цветке.
— Мне худо, успокой меня, Цветица!
Вскипели ветры. Звезды заискрились.
— Цветица, это все обман, неправда это! Скажи мне — светом, звуком или цветом, — что я ошиблась, нет беды со мною!
Цветок молчал, но звезды все играли.
— Ох, усыпила ты меня своею сказкой. Как я могла забыть, что Змей меня поганил? Мне лучше петлю было б свить, чем песни твои слушать, сладенькая лгунья! Нет, быть того не может... Избавиться скорей от яда, что набух во мне и мерно созревает! Зеленоцветный, златоглазый яд — с руками и ногами? Или вечно он на брюхе будет ползать, рот сомкнувши, и лишь единожды его разверзнет, чтоб до смерти ужалить мать свою — меня?
Она уткнула в пол лицо и билась лбом о крашеные доски. И тут Цветица ей все подала:
— Всегда в душе у вас, людей... у всех живых таятся в душах змеи. Бывает, вползают они, скрипят своею чешуею — так, что достигает этот скрежет пределов мироздания, которому не найдено пределов. Бывает, человек уже насквозь пропитан ядом. Яд в кончиках ногтей и сбритых волосах. Во взгляде и в походке. Даже платье не скрывает, что из пор не пот, а яд сочится. Вечно Змей над человеком власти ищет, но... не всегда находит. Скрутить в клубок упругий, придавить под гнетом доброты тугую змейку злобы, ей зубы затупить, а яд отдать алхимику великому — душе своей бессмертной, чтобы свинцовое безумье злобы в златое милосердье превратить. Так поддержи, о Мать, дитя свое при входе в жизнь. Пусть ласкою, любовью и заботой с первых же часов благоуханья его во чреве, в этой маленькой Вселенной, будет обезврежена невидимая змейка.
— Цветица! Мне — любить змеенка?!
— Ни одно дитя, хоть и чужое, хоть и чуждое, хоть с четырьмя руками, хоть шерстью будь покрыто, роди-

телей себе не выбирает. Откуда же у взрослых это право — решать вопрос о жизни или смерти? Вы, взрослые, — Судьбу свою способны хоть на йоту повернуть с ее дороги звездной? А дитя, которое от вас зависимо всецело?.. *Твой* вздох, глоток, слеза — его. Жжет его *твоя* печаль огня сильнее. Крепче яда травит ненависть *твоя*. Живой воды скорее исцеляет движенье сердца: «Там, во мне, святое существо. А я — сосуд всего лишь, охранитель. Мне святость ту беречь, не расплескав ни капли и преумножив благодать, что детям всем дарует-ся от века!»

— Цветица! Но за что в меня вонзился перст Судьбы?

— Чтоб из твоей невинности бесстыдной взошел *иной* цветок. Цвет беспокойства! Нет в покое света, звука, мысли. Покой и глух, и темен, и безжизнен. Лишь из раскола, муки, боли мысль восстает и чувство. Твое дитя пусть так восстанет в стремленье вечном к счастью — не к покою! Узнать он обречен, но к достиженью путь — счастливей достиженья. Узнать — и научить других.

— Но сам-то он достигнет счастья?

— Может быть. Но тут же и отринет его, чтобы не стало счастье надоевшим Прошлым. Тускнеет исполненье желанья перед желаньем самим. И только это импульс посылает движенью вечному вперед.

— Ох!.. Бедное мое дитя...

— Его уже ты любишь.

— Мы дышим в лад. И руки равно стынут, и ноги заплетаются, блуждая в болотах чужеродья. Но сова — вздох единый — и снова сердце бьется — и мы идем вперед — одно стремленье, вместе, разом — звук и отзвук.

— Ты все поймешь, я знала. Во Вселенной мужчинам — биться. Женщинам — жалеть. Цветам — цвести. А детям — нарождаться.

* * *

Зеленый луч весны проник на землю и поджег ее. Воскурили туманы свои фимиамы солнцу. Сперва дерзкий подснежник выглянул. Потом, излечивая зимние хвори, давая прорваться застойной крови, Природа выпустила адонис и ветреницу. Наконец сиренью омылась душа, и земля превратилась в одно сплошное поющее горло.

Утром Майю, как всегда, поднял своим подлым звоном будильник. Затревожился сон и исчез. Бросив прощальный взгляд Цветнице, Майя заспешила на работу. Она была машинисткой в НИИ экологии. Но и грохот машинки не мешал ее мыслям возвращаться домой, снова и снова внимать Цветнице, до бесконечности выспрашивать, каким он будет, ее ребенок... У человека и растения два пути в этом мире, отвечала Цветница, прорасти или погибнуть, но как несведущему невозможно определить по виду семечка, что скрывается в нем, так и нрав новорожденного не определим. Будет ли он красив, размышляла Майя. Некрасивых детей и цветов на свете нет, утешала Цветница. Будет ли умен? Взрослые могут только случайно прозреть то, что понимают дети всем существом своим, уверяла Цветница, сияя, как звезда.

«Почему же ты, звезда моя, светила так отрадно, когда рвали тело мое и пили душу? Ты знала будущее? Ты знала, что когда-нибудь я, стыдясь себя самой, благословлю и тот день, и твой тихий свет!»

Майе казалось, что Цветница знает больше, чем говорит. Да что! Ей чудилось, что Цветница непонятным образом знает все не только о ребенке, не только о Майе, но даже и о печалях ее матери и матери той, и той... до печалей Матери изначальной! И Майя смутно чувствовала, почему. В Цветнице был воплощен некий общий разум, опыт всех людей и растений, живущих в ней. А Майя была лишь частью, даже частичкой, страдаю-

щей от одиночества. Одиночество людей! Майя верила — а стало быть, знала: люди, которых носит в себе Цветица, уже стали иными. Растение передало им свою созидательную силу, и родная планета живет в Цветице по законам добра и красоты. И только память о прежнем циркулирует между мозгом людей — землей — растениями — животными — вновь людьми, и никогда не прерывается этот круг, потому что непрерывны смерть и жизнь.

Дверь отворилась. Майю позвали в соседний кабинет к телефону. Она шла очень прямо, втянув живот. Живота еще не было заметно, но грудь ощутимо налилась, и Майя чувствовала себя неловко.

Давно она не слышала голоса Умной Эльзы, не видела ее лица. Правда, ей показалось, что Умная Эльза мелькнула в толпе Чужих, но ведь это был бред... И Майя обрадовалась подруге.

— Ну, как твоя Дюймовочка? — насмешливо спросила Эльза после многочисленных упреков, что Майя не звонит и не заходит. — Не она ли так отвлекла тебя? Что же там получилось?

— Приходи, посмотри на нее, — загадочно ответила Майя, и что-то словно бы укололо ее: зачем?! — но Эльзе будто только того и надо было.

— Приду! Сегодня в шесть. У меня для тебя сюрприз.

* * *

Возвращаясь домой, Майя попала под внезапный дождь. Ничего не предвещало его в голубой пустыне неба. Первыми непогоду почуяли деревья. На березе поссорились листья — страх перед внезапным дождем нарушил их согласие. И скоро с неба, вспоротого молнией, хлынул ливень.

Майя первым делом сменила мокрую одежду и только собиралась подойти к Цветице, повиниться перед ней, что позвала Эльзу, как сама Эльза вбежала, весел-

смеясь: черные волосы, подобно шлему, облегали ее небольшую головку, желто-зеленое платье шелестело. Она была похожа на хорошенькую, ласковую змейку — никогда Майя не видела ее такой.

Следом за Эльзой появился какой-то мужчина. Ни он, ни она не вымокли под дождем. Мужчина, войдя, бросил на Майю тревожный взор.

— Вот! — объявила Эльза. — Это Смок. Извини, дорогая, но он измучил меня требованиями привести к тебе. Я уж и отговаривала, и предостерегала... Ни в какую, а ведь ты знаешь, что я создана отговаривать и предостерегать. Но от него не отвяжешься. Всю душу высосал. На то он и Смок.

Майя смотрела на Смока. Он был светлоглазый, с чеканным профилем и слегка вьющимися светлыми волосами. Он побледнел и с взглядом Майи, у нее дрогнуло сердце. Это было похоже на столкновение звезд или молнию.

— Прекрасное... Почему оно потрясает?

— Ты сегодня очень взволнована.

— Да, трудно оставаться сдержанной, когда заранее знаешь исход — и ничего уже не в силах изменить... А сила прекрасного, наверное, в том, что оно редкостно, а значит, вне обыденности. Оно внезапно! И во встречах с людьми мы ищем того же, и летим на внезапный огонь, думая, что он — маяк прекрасного, и чаще всего сжигаем свои крылья.

Смок оперся о косяк, не скрывая волнения. Наконец он заговорил — низким, приятным голосом:

— Я принес вам цветы.

Удивительно — минуту назад Майя не видела в его руках букета.

— Они красивы, как вы! — торжественно произнес Смок, водружая чудесные, жаркие розы в вазу. Оказывается, там уже была вода.

Майе показалось странным, что он не отдал цветы ей, а сразу поставил, но тут Смок взглянул на нее —

и она думала уже только о том, какое счастье, что он принес ей цветы. В его лице было неуловимое сходство с тем, кого она потеряла навсегда. Первый мужчина, который напомнил ей Любимого! Глаза у Майи повлажнели.

— Красиво! — с завистью сказала Эльза, расправляя на столике кружевную салфетку. — Ставьте сюда, Смок.

— Нет, — покачал головою Смок. — Лучше сюда. — И он пристроил вазу на подоконник, на котором возвышался сиреневый цветок с плотно сжатыми лепестками.

— Что это за растение?

— Кажется, тюльпан, — ответила Майя, которая никак не могла вспомнить, откуда вообще у нее этот цветок.

— Тюльпан — вернейший рыцарь лилии, — провозгласила Эльза, — а лилия и роза — [illegible] враги.

Смок перевел на нее взгляд.

— Да, — внезапно заспешила Эльза. — Извини, Майя, мне пора бежать. Я позволю тебе [illegible] дорогая!

Она схватила сумочку и выскользнула за дверь.

— Я страстно люблю тюльпаны, — сказал Смок. — У меня их целый сад. Но такой редкости я не встречал в жизни своей. — При этом он не сводил глаз с Майи, и та вдруг ощутила горячее желание подарить ему этот вовсе не нужный ей цветок такого тревожного, сиреневого оттенка.

Смок подошел к ней. Ощутив внезапный озноб, в замешательстве, Майя сняла с подоконника вазу и перенесла на стол:

— Там солнце опалит нежные лепестки ваших роз, и здесь, по-моему, они смотрятся лучше.

Даже если Смок был недоволен, на его чеканном лице ничего не выразилось. Он просто поставил вазу обратно.

— Я принес вам еще подарок. Вот он. Это древнее украшение.

— О!.. — Горло у Майи перехватило от восторга.

Наверное, украшение было золотое, так мягок был его блеск. Широкий с чернью браслет, от которого тянулись пять ажурных цепочек к пяти перстням — для каждого пальца — в виде причудливо свившихся змеек и травинок. У всех змеек — крошечные красные камешки вместо глаз. А в браслет был вправлен крупный, выпуклый камень тусклого желто-зеленого цвета со змеистыми прожилками. Тревожная, давящая красота была в этом украшении.

— Боже мой, что это за чудо! Какие это камни?

— В перстнях дракониг, а браслете — серпентин, — пояснил Смок.

— Я и не слышала о таких, — простодушно сказала Майя.

— Может быть, вам по душе изумруд? — настороженно спросил Смок.

— Ну что вы, эти так прекрасны!

Тогда Смок надел чудесное украшение на руку Майи. Что было холоднее — объятия металла или его пальцев, — она не смогла различить. Глаза его были холодны — цвета глубокого льда, и Майе вдруг захотелось, чтобы растаяли они. Если правду говорят, что любопытство, тоска и доверие — триада, которая рождает любовь, то любопытство и тоска снедали Майю. Доверия к Смоку она не ощущала, но... луч заката, что ли, воспламенил ее.

В полях травы к земле прилегли, будто усталые змеи. Серьги Майи прислонились к плечам Смока. Его руки легли на ее тело, и...

— Ну, в этом никто не виноват: просто он сам поставил вазу со своей травой слишком близко к краю подоконника.

— Да? А не ты ли слегка подтолкнула его руку при этом?

— А, что скрывать! Такие мелочи я еще могу себе позволить, это не нарушение сюжета. Невозможно ведь равнодушно смотреть на все это.

— Белена и дурман едва не задушили меня. Да еще кругом это железо...

...вдруг с грохотом свалилась с подоконника ваза и разбилась на тысячу кусков. Стебли роз сломались, лепестки были разорваны осколками.

— Ой! — воскликнула Майя, вырываясь из объятий Смока. — Вот горе!

Она склонилась над розами. Но где же они? Где изящные стебли, надменные шипы, бархат лепестков? Острые узкие листья; грязно-желтые, с сетью фиолетовых прожилок и темным зевом цветки; дурманящий запах... Во что превратились розы?

— Что это? — обернулась Майя к Смоку.

— Белена и дурман, — ответил он .. он?

Голос его из низкого, глуховатого стал мягким, вяжущим.

Лицо исказилось, исчезла благородная четкость черт, кожа посмуглела, светлые глаза загорелись, даже волосы стали черными! Теперь-то он меньше всего напоминал Любимого! Майя узнала ненавистно красивое, скользящее лицо Змея.

— Почему же он назвался таким именем?

— Слово «смок» на языках некоторых славянских народов означает «змей». А изумруд по древним поверьям — самый могучий талисман: один вид его смертелен для ядовитых змей.

— Успокойся, — быстро сказал Змей, протягивая к Майе руку. — Успокойся. Я тебя не трону сейчас. Пришло время сказать тебе...

— Ни слова я с тобой не скажу! Вон отсюда! Вот уж воистину: льстец под словами — змей под цветами! — прервала Майя, но по лицу его проползла улыбка:

— Пословица неплоха. Но вот послушай, какую я расскажу тебе сказку... Однажды некий князь поджег в лесу сухое дерево. А в нем жила змея. Увидел князь, что змея вот-вот погибнет, услышал ее мольбы, пожалел — и выхватил из огня. Змея обернулась женщиной

столь дивной красоты, что князь и помыслить не мог ни о чем другом, как только взять ее в жены. Она согласилась — на том лишь условии, что он никогда, даже во гневе, не назовет ее змеей. Иначе...

Князь обещал все, что она хотела, женился на ней, и они жили счастливо. Но вот единожды, осердясь на своенравную, острую на язык жену, он злобно обругал ее: «Змея!» И в тот же миг она исчезла. Князь все бы отдал, чтобы вернуть ее, да поздно. Так, в горе, и дожил он свой век, не зная...

— Что? — с невольным волнением спросила Майя.

— Что жена его родила сына, который обречен нести дар оборотня как проклятие. Этот сын — я.

— Ты!..

— Да. Но послушай еще сказку, — властно произнес Змей. — Ее рассказывают на далеких южных островах.

Жила когда-то женщина, у которой вместо сына родился Змей. Змей рос и рос. Своим родителям он был противен. Но все же они заботились о нем, ведь это был их ребенок. Когда он вырос, ему построили отдельную хижину. А потом родители решили его женить.

Долго искали они невесту. Наконец после долгих трудов нашли девушку, которая согласилась выйти за Змея. Родители предложили ей жить с ними и только на ночь отправляться к Змею. Но девушка ответила, что раз она вышла замуж, то должна жить со своим мужем.

Однажды она пошла ловить рыбу. Змей сбросил шкуру и превратился в юного вождя. Когда жена вернулась, она не узнала своего мужа. А тот притворился, будто ищет человека-змея.

Прошло три дня. И женщина начала догадываться: незнакомец — ее муж.

На четвертый день она сказала, что пойдет ловить рыбу. А сама осталась дома, нашла змеиную кожу и сожгла ее. Вечером опять пришел юный вождь. Он спросил, где Змей.

— Он здесь, — ответила жена. — Он — это ты!

Все узнали об этом. Девушки, которые когда-то не хотели выйти замуж за Змея, горько пожалели об этом!

Последние слова Змей произнес как бы с ударением и выжидательно посмотрел на Майю.

— Ну и что? — угрюмо спросила она.

— Я прошу тебя стать моей женой, — вкрадчиво прошептал, будто просвистел Змей.

— Боже сохрани! — со страхом вырвалось у Майи.

— Уж сколько ваших грехов принял на себя ваш бог, а вы всё просите его о чем-то!.. Но ты не спеши отказывать мне. Клянусь, жалеть тебе не придется. Мое племя могуче, а я в нем владыка. И в царстве растений... — Он бросил косой взгляд на подоконник, где стоял серебристо-сиреневый цветок, и глаза Змея, огненные, колючие, казалось, застыли на миг, — ... живет моя могучая родня. Ты только послушай, как победно и величественно звенят их имена: Змеиная Головка, Ужевка, Драконова Кровь, Змеиный Язык, Змеевик, Змеевец, Змееголовник, Змеедуб... Их еще много, много. Даже в небе, куда ты столь часто обращаешь свои взоры, — снова косой взгляд в сторону подоконника, — даже там есть могучие братья мои: Змея, Скорпион, Змееносец... А сколько змееносных людей окружает тебя!

— Оставь уговоры.

— Согласись! Совсем скоро, 30 мая, на Исакия — ночь великой змеиной свадьбы. Змеиный праздник! Ежегодно венчался я в эту ночь с прекраснейшими из земных дев, но только тебя хочу взять в жены не на год — навеки. Вспомни сказку южных морей. Ты не пожалеешь. Другие будут завидовать тебе.

— Но ты мне тошен! Попроси Эльзу — она явно к тебе неравнодушна.

— Эльза! — отмахнулся Змей. — Эльза пуста, будто коробочка дурнишника, из которой ветром выдуло семена.

Майю словно ожгло, она крест-накрест обхватила руками живот.

— Нет, нет! — шепнула она.

— Да, да! — властно произнес Змей. — Там мое семя, а значит, мой плод.

— Нет, нет!..

— Ты умная женщина, — холодно вымолвил Змей. — Я скажу тебе, зачем мне ребенок. Когда я получу его... с меня спадет проклятье моей матери и всех тех, кто вступал в брак с людьми. Я перестану бояться за свою кожу: ведь если ее сжечь, то я не стану человеком — я погибну! Лгут проклятые сказки, не лжет только древняя песня о Змее-женихе!

Глаза Майи блеснули, и Змей заметил это.

— Напрасно надеешься, — покачал он головой. — Тебе никогда не найти моей кожи. Надежно хранит ее медяница. Да и подумай о ребенке!

— «Ребенку нужен отец» — так, кажется, говорят в подобных случаях? — спокойно спросила Майя. — Или «ребенку нужен змей»?

— Легче сосчитать опадающие сентябрьские листья, чем уговорить тебя, — со злой печалью произнес Змей. — Ты — слабая женщина, где тебе справиться с порождением Горечи и Мудрости! Оборотень в мире людей обречен на изгнание. Все вы хотите быть одинаковыми. А тот, кто рознится с вами и превосходит вас, ненавистен вам и гоним вами. И даже если он будет жизнь свою отдавать за вас, вы с благодарностью распнете его, чтобы потом молиться на него, украдкой радуясь, что он мертв.

— Нет, нет! — Майя зажала уши.

— Да! — Голос Змея проникал всюду. — И ему не найти счастья в вашей так называемой доброте. Доброта — жалость... Тому, кто жалеет — других ли, себя,— никогда не узнать, чью песню поет дерево на могиле, чьи проклятия и обеты звучат в раскатах грома, по кому проливает слезы дождь, кого разит своей беспощад-

ной усмешкой солнце, кого благословляет закат и напутствует рассвет. А я взращу ум ребенка безжалостным и острым. Я взращу его душу сильной, стремительной и ядовитой.

Майя, защищаясь от силы его слов, подняла руки к лицу и... еще одно превращение! Не серпентин, дракинит и золото, а грубое железо, позеленевшее и проржавевшее, облепляло ее запястья и пальцы! С криком сорвала Майя украшение, отшвырнула. Змей поразительно гибким, бескостным движением нагнулся, подхватывая его, пряча, и только тут Майя внезапно вспомнила: «Вечно Змей над человеком власти ищет... но не всегда находит. Скрутить в клубок упругий, придавить тугую змейку злобы, ей зубы затупить, а яд отдать алхимику великому — душе своей бессмертной, чтобы свинцовое безумье злобы в златое милосердье превратить...»

Цветница! Как можно было забыть о ней!

Она метнулась к подоконнику, а Змей скрипнул зубами:

— Да, недаром предписано поверьями белену и дурман срывать лишь ночью. Дневные запахи быстротекучи и слабы. Вот и рассеялись их чары. Но в чем ты ищешь опоры? В хрупком цветке. Наивная! В тени одинокого облака от солнца не скроешься. Не защитит тебя цветок. Смотри — он молчит. Так подумай хорошенько — принимаешь мое предложение?

— Я от тебя не приняла бы и яду, если бы решила отравиться: вдруг не подействует! — Майя обожгла рот злобой своих слов.

— Ну что же. Я уйду — пока. Я сомневался, что ты любишь этого ребенка. Теперь вижу — ты приняла его в душу свою. Это хорошо. Я сомневался, что ты во власти говорящего цветка. Напрасны были сомнения. Это плохо. Раз так... надо подумать. Прощай пока.

Скользящей походкой он направился к выходу. Мягко улыбнулся на пороге и непонятно произнес:

— А цветок молчит и будет теперь молчать всегда. Цветок — или ребенок? Что выбрать?

Змей исчез. Исчезли белена и дурман. Цветица молчала.

Майя звала — напрасно. Сбрызнула ее водой, отворила окно, молясь свежему ветру, — не помогло и это. И капли горючих слез не разомкнули лепестки.

В отчаянии Майя решила бежать за колдуньей, но оступилась в дверях, подвернула ногу, ухватилась за косяк, чтобы не упасть, и громко вскрикнула: в руку ей воткнулась толстая железная игла, почему-то торчащая в косяке!

От боли снова брызнули слезы. Майя выхватила иглу и вышвырнула в окошко: «Чья это подлая шутка?!»

Ладонь ныла. Майя по-детски слизнула капельку крови — и мгновенно забыла о боли, увидев, что Цветица медленно раскрывает лепестки. И как всегда при этом, Майя ощутила взмахи невидимых крыльев, замирающие вдали раскаты небесной музыки.

— Цветица!!! Что, скажи мне, что с тобой?

— Игла...

— Игла?

— Игла меня околдовала, усыпила. Запах трав земных одурманил. Но я все знаю, что происходило.

— Цветица! Страшно мне.

— Ложись! Усни. Забудься. Утром все иначе будет.

Майе казалось, что каждый волосок ее плачет от нервной усталости. Она крепко заперла двери и окна и легла, до последнего мига ловя светлый взор Цветицы.

— **Прости меня.**

— **Ну что с тобой?**

— **Не только Майя полюбила тебя. Я с каждым днем все больше привязываюсь к тебе, и мне горько от беды, на которую я тебя обрекла. А горше всего, что уже ничего не остановить.**

— **Что же случится дальше?**

— Змей поставит Майе условие.

— Какое?

— Я не могу тебе сказать, иначе мой замысел рухнет, действие сломается.

— Вот как? Ну что же, не мучай себя. Пока Майя не узнала главного условия Змея, давай и мы будем делать вид, что нет ничего страшного. Но расскажи, почему на меня так действуют эти уловки Змея: железо, иглы... это колдовство?

— Да, это колдовство. Ведь и у нас, на земле, в цветах тоже живут диковинные существа: феи, эльфы... Как и ты, вырастают они из крохотного зернышка. Замки фей, сверкающие золотом, серебром и драгоценными каменьями, кроются в темных чащах. Эльфы живут в цветах. Тем, кто спит среди цветов, навевают они сладкие сны. На холмах, на лужайках при свете месяца танцуют эльфы. Утром, если присмотреться, можно увидеть на траве следы их ножек. Воздушные эльфы — друзья человека, но бедные, одурманенные Змеем люди верят, что эти дети природы — их враги, как вообще все невнятное разуму человека.

— Скажи, почему именно в общении с травами, цветами, корнями растений человек особенно склоняется к суевериям и страхам?

— Он полагает суеверием и чудом все, что не умещается в крошечный кузовок его представлений и знаний! Вот и стережется от диковинного. А знаешь ли, что самое надежное оружие против эльфов и фей — железо? При входе в жилище, где поселились они (как ты поселилась у Майи), надо воткнуть в косяк нож, булавку или иглу — и духи не тронут, не причинят вреда, дадут спокойно уйти.

— Да зачем беречься от чуда?!

— Чудо — дитя не ума, а чувства. Ум человека развивается, чувства его блекнут... Но тише! Ты слышишь? Они идут!

Птица Ночь медленно летела над Землей. Стояло полнолуние. Было так тихо, что можно было расслышать, как растения пьют воду.

И в эту самую пору сквозь запертую дверь в комнату Майи неслышно вошли тени вещего сна. Майя замешалась в постели, но тени, став по обеим сторонам дивана, наложили свои бледные руки на ее разгоряченный лоб.

Снилось Майе лето, цвела тем летом, казалось, только жара. Обмелевшая река готова была вот-вот истончиться и умереть.

Но Майе было не до реки — жара томила ее сильнее, чем реку. Раскинувшись, лежала Майя среди увядших трав в непостижимо огромном поле, накрытом раскаленно-синим куполом небес. Ей было так больно, словно рожала она не крохотного ребенка, а целую планету, населенную городами, лесами, морями и многочисленными воюющими друг с другом людьми.

Но вот наконец вышел ее живот, и дитя легло к ней на руки. Мгновенный теплый дождь ее слез омыл младенца. Он посмотрел на мать зелеными, как молодые листочки, глазами и вдруг быстро побежал по увядшей, растоптанной солнцем траве. Майя, полумертвая от счастья и усталости, приподнявшись на локте, смотрела ему вслед. Внезапно длинное, скользкое, черно-желтое тело с плоской головой, увенчанной алмазным гребнем, возникло перед ребенком и метнуло в него раздвоенный язык. Дитя с жалобным стоном упало, а цветы, только что вяло лежавшие на земле, поднялись и алчно раскрыли свои лепестки.

Майя взметнулась, отбрасывая простыни, и тут же вновь рухнула на постель, чтобы опять испытать и жару, и блеск небес, и муку, и облегчение, и взгляд своего ребенка, и холодную внезапность змеиного появления... но цветы, которые только что радостно цвели, мгновенно упали, скорчились, закрыли змее дорогу к ребенку. Он бежал по умирающему полю...

— Что это? Я не понимаю! — простонала в забытьи Майя.

— Это мое условие, — ответили тени сна голосом Змея.

— Нет...

— Если тебе дорого дитя, если хочешь видеть его живым, уничтожь звездоносный цветок!

Майя всхлипнула во сне. Тени медленно отошли от ее постели.

Прилетели стаи звезд, посидели на небесных качелях, а наутро улетели в другие страны.

И вот пришло в жизнь Майи время выбора. Ну что же, человек обречен всегда жить с необходимостью какого-то выбора. Направо идти — богатому быть, налево идти — друга потерять... А между тем все в мире шло своим чередом. Солнце и Луна сменяли друг друга на небе с такой неумолимой точностью, как будто исполняли некий обет или подчинялись проклятию.

В один из дней, выйдя после торопливого обеда хоть немного передохнуть, прежде чем снова сесть за машинку, Майя увидела в сквере у крыльца своего НИИ незнакомую женщину. У нее были выцветшие волосы и светло-серые, будто разбавленные слезами, глаза. Лицо ее тоже было блеклым, даже платье — линялым, не новым, и при этом она была мила своей печальной простотой и невзрачностью.

— Вы Майя? — сказала женщина. — Я к вам от Эльзы.

Уловив отвращение на лице Майи, незнакомка опечалилась.

— Пройдемся немного. Я вам все объясню.

Как-то необычайно быстро они вышли из сквера и оказались на набережной, за которой блестела серебряная чешуя большой реки.

В этот день была чудесная неутомительная жара, изредка прерываемая ветром. Облака — листья с небес-

ного дерева — порхали над городом; но они слишком легки, не долететь им до земли, вечно носит их ветер...

На воде у берега качалась лодка — белая, как платье невесты.

— Какая красота! — невольно воскликнула Майя.

— Это моя лодка, — сказала женщина. — Хотите покататься?

— Перерыв заканчивается, — объяснила Майя с невольным сожалением, представляя, как вздернет лодка нос на крутой обимурской волне, а ветер заключит ее в свои объятия.

— Пустое! — пожала плечами женщина, крепко беря ее за руку.

Майя не успела опомниться, как уже стояла в лодке, а та легко отплывала от берега.

— Ну ничего себе! — сказала она сердито. — Сейчас же гребите назад!

Женщина молча опустила глаза, и Майя увидела, что весел в лодке нет. Это была не моторка, а обычная плоскодонка, и она плыла без руля и без ветрил, волны влекли ее вперед, к зеленому облаку леса.

Глупо было беспокоиться, и Майя неприветливо спросила:

— Как же вас зовут?

— Катериной, — безучастно ответила женщина. — Ты не сердись ни на Эльзу, ни на меня. Она одурманена, а я... поверь, сила, которая прикоснулась к тебе, которая нас влечет, неодолима, ей лучше покориться. Когда-то и я была молодой женщиной, как ты, только еще краше, и вот однажды ночью на исходе мая непонятный зов завлек меня в лес. Там встретила я своего суженого во всем великолепии его чудесной и чуждой власти. Там прошла наша свадебная ночь. Она была мне страшна и непонятна, но вскоре я почувствовала, что беременна. А мой недолгий муж сперва исчез, потом появился снова. И рассказал, кто он. — Она многозначительно посмотрела на Майю, но та прогнала страшную догадку

резким взмахом руки. — От этой мысли трудно отвязаться, — вздохнула Катерина.

Чайки летали над ними и громко кричали, широко разевая клювы.

— Птицы просят хлеба, но лучше бы они исклевали печаль мою! — тоскливо сказала Катерина и продолжила рассказ: — Он потребовал у меня ребенка во имя искупления проклятия своего рода. Я отказала, неразумная. Не стану описывать тебе мир ужасов, которыми он меня окружил. Слова — линялые тряпки в сравнении с действительностью. Притом для тебя он избрал другое испытание. Скажу лишь, что я скрылась от него в измученном летней жарою поле и там, под музыку цветов, родила ребенка с глазами зелеными, как молодые листочки. От его взгляда весь мир заговорил со мной. Мне показалось, что в тех словах — надежда на спасение. Однако Жизнь только молча обещает, а если говорит, то одно лишь слово: «Никогда». Пока я отдыхала, возник он, отец... Я обманным движением схватила ребенка, над которым он уже склонился, и бросилась бежать. Он скользил за мною, но я успела добежать до реки.

Путь назад был отрезан его многочисленной родней, и чудом показалась мне одинокая лодка. Я вскочила в нее, радуясь спасению, и, лишь когда она отошла от берега, обнаружила, что нет весел. Одной рукой я держала ребенка, другой пыталась грести. А он стоял на берегу и молча смотрел на меня. И вдруг... его ли взгляд был тому причиной, мое ли неловкое движение... но лодка опрокинулась. Поверь, я долго плавала, ныряла, но не нашла моего ребенка...

Волна выбросила меня на берег, к его ногам. Он посмотрел на меня своими золотистыми глазами без злобы и горя и ушел, оставив меня вечно качаться на волнах, а по ночам дремать, уткнувшись носом в песок. А на прощанье... на прощанье он проговорил... слова его показались мне непонятными, но теперь я знаю их смысл:

«Будет еще один. Последний. И уж тогда я не упущу своего шанса».

Ты поняла? Он надеется теперь только на твоего ребенка. Это последняя удача для него, больше он не сможет иметь детей, и останется ему вечно ползать и вечно носить проклятие змеиного рода. Он готов на все, лишь бы заполучить ребенка. Ты выслушала меня... не противься ему. Ведь дитя твое останется с тобою — он только раз коснется ребенка своим ядовитым языком, чтобы переложить на него родовое проклятие. Пусть дитя останется чужим — оно будет жить. Твоей одинокой душе не придется вечно носиться по волнам тоски. Все равно он своего добьется.

Все смерклось перед Майей, а лодка между тем мягко вышла на берег.

— Теперь иди, — устало сказала Катерина, махнув в сторону близко подступившего темного леса. — И помни мой рассказ.

Она облокотилась на борт, а Майя ступила на влажную кромку песка, переходящего в узкую полоску травы. По ней тянулись следы, но чьи они — человечьи, птичьи, звериного ли когтя, — различить было невозможно.

— Не мешкай! — подтолкнул ее голос.

Майя сделала несколько шагов и оглянулась.

— Иди же, иди!.. — реяло в воздухе, но белой и красивой, как платье невесты, лодки и бледной женщины в ней Майя не увидела. На волне печально покачивалась серая, выцветшая плоскодонка с облупленной надписью на борту: «Катерина-одиночка».

* * *

Никто не нашел бы брода через ручьи и речки, которые пришлось перейти Майе, никто не нашел бы дороги в том бездорожье, какое являла собой ощетинившаяся темная тайга, но внезапно чаща, будто по чьему-то грубому приказу, расступилась, и перед Майей оказа-

лась россыпь синих камней. Ни солнца, ни луны не было в небе, и чудилось, будто сами камни источают неяркий, холодноватый свет.

Зарокотал гром. «Чьи проклятия и обеты звучат в раскатах грома...» — вспомнила Майя и затрепетала.

Две темные тучи, похожие цветом на лежащие перед Майей камни, начали сходиться — сперва медленно, а потом с разгону ударились друг о друга, сотрясая мир грохотом и опуская дождевую мглу. Лес зашумел, трава затрепетала. Майя стояла, не зная, куда идти, слыша, как из тьмы возникают голоса, протяжно что-то напевающие.

Наконец мгла рассеялась, и Майя увидела огромный колодец, из которого, клубясь, выползали змеи.

Множество змей! Майя сама не могла бы объяснить, почему не бежит прочь с криком. Словно бы кто-то нашептывал ей слова, приказывающие оставаться на месте и смотреть. И она смотрела.

Среди цветов, которых не встретить ни в поле, ни в чаще, вырезных, тонких, остролистых, узорчатых, цвета старой меди, монотонно звенящих, мерно поблескивающих, на поляне змеились голубоватые, зеленые, желтые, черные тела. Но странно— чем дольше глядела на них Майя, тем отчетливее различала в этом серпантине человеческие фигуры, черты... Женщины, мужчины в самых причудливых одеяниях всех времен и народов, прекрасные и безобразные, старые и молодые. И только детей не было среди них, и в тонких, как ветки, змеенышах, шнырявших в траве, не могла различить Майя человеческих черт, словно дети змей, как и дети людей, еще не научились притворяться, лгать, изменять себе.

Странно! Многие лица были знакомы Майе. Где, когда она видела их? Да ведь это Чужие! Печать смутного, ядовитого сходства лежала на них. И вдруг — лицо Умной Эльзы! Она под... к Майе. Нет, невозможно подобрать слова для описания движения Эльзы, которая до пояса была человеком, но от пояса превратилась в

змею. Л
лой зеле
— М
ляйся. С
куда удо
И она за
гда я уж
легче дв
ря! — О
но та успе
вечески не
Эльза. —
гда настиг
ла тебе до
— Как
— Ты ж
ком власти
души. Это
по себе, с
тем самым
в гнусностя
женщин-зме
— Но се
Эльза. — Н
шепот, — з
лживых зав
нить...
Рядом с
Прекрасная
том платье,
ли сомкнутые
сы зменились д
— О, Шем
нею Эльза.
Губы краса
стремительную
— Дева, лу

змею. Лицо ее отливало то прежним румянцем, то тусклой зеленью.

— Майя! — радостно взвизгнула Эльза. — Не удивляйся. Скоро и ты будешь такой. А без ног вообще-то куда удобнее. Чувствуешь себя такой стремительной! — И она завертелась в немыслимом танце. — Конечно, когда я уже совсем превращусь в зменху, мне будет еще легче двигаться. Но и сейчас я кое-что умею. Смотри! — Она неуловимым движением метнулась к Майе, но та успела отпрянуть. — Нет, я все-таки еще по-человечески неуклюжа, — в искреннем огорчении произнесла Эльза. — Иначе я бы коснулась тебя. Змея должна всегда настигнуть! А ты напрасно боишься. Я всегда хотела тебе добра.

— **Как же она могла?!**

— **Ты же сама говорила, что вечно змей над человеком власти ищет. Он проскользнет в любую трещинку души. Это древняя и недобрая сила — судить о других по себе, считать свою меру единственно правильной, тем самым оправдывая себя и в малых проступках, и в гнусностях. Знаешь, как называли у нас в старину женщин-змеих? Василиски, аспиды...**

— Но сегодня ты станешь нашей, — продолжала Эльза. — Не скрою, — перешла она на пронзительный шепот, — здесь многие завидуют тебе. Не слушай их лживых завываний. Зла тебе они не посмеют причинить...

Рядом с ними взвилась длинная желто-зеленая змея. Прекрасная женщина, высокая и тонкая, в переливчатом платье, приблизилась к Майе. Ее брови напоминали сомкнутые у переносицы луки, а длинные черные косы змеились до самых пят.

— О, Шемаханская царица! — склонилась перед нею Эльза.

Губы красавицы на миг приоткрылись, выпустив стремительную холодную улыбку, и снова сомкнулись.

— Дева, лучшая дева, звездочка-дева! — негромко

произнесла она. — Сейчас мы тебя обрядим, невеста. Ты распусти свои волосы, мы заплетем их по-новому. Помоги ей, Эльза.

Холодные пальцы легли на волосы и на плечи Майи, поползли, повергая ее в оцепенение. Три молодые змеихи в кимоно, с булавками в прическах, держали перед ней огромное медное зеркало, и в нем Майя с ужасом разглядела свое бледное лицо и гладко стиснутые, перевитые золотыми нитями русые волосы, в которые была вплетена золотая змейка о двух головах, изогнутая, как полумесяц. Золотой венец с серпентином стиснул ее голову, а от обилия украшений стало тяжело пальцам, ушам и плечам.

— Невеста ждет жениха! — провозгласила Эльза и шепнула по-свойски: — Дурочка, успокойся! Такая везуха бывает раз в жизни!

Длинный толстый змей выполз на середину поляны. Высокий, крепкий человек в доспехах римского легионера, блещущих золотом, поднял большой, тяжелый лук. Он щелкнул пальцами, и сразу несколько змеенышей взвились из травы, визжа:

— Выбери меня, меня, меня!..

Легионер, казалось, был в нерешительности. Тут незаметным движением приблизилась к нему голубоватая жирная змеиха — напудренная дама в голубом кринолине — и что-то сунула в его толстую ладонь. Глянув искоса и довольно улыбнувшись, змей сунул дар за пазуху и, спросив: «Который из них твой сын?» — благосклонным жестом подозвал самого неказистого змееныша. Остальные разочарованно зашипели и расползлись.

Змей поднял малыша, натянул тетиву лука — и послал тонкую стрелку-змеенка в небо. Стрелка вонзилась в тучи, на миг высветив в них очертания высоких скал и глубоких пещер.

Словно чье-то жаркое дыхание пронеслось по лесу, клоня вершины деревьев, сотрясая их корни. Распалась туча, оставив на небе только огненный знак молнии, ко-

торый, подобно карающему персту, вонзился в самый центр зменного колодца.

Из зеленой травы до самого неба поднялся столб синего пламени. Золотящийся силуэт сначала смутно, потом все ярче проступал сквозь синий огонь, и наконец на притихшей поляне, среди Чужих, прилавших к земле, словно травы, склоненные ветром, возник Огненный Змей. Лицо его светилось, будто полуденное солнце в разгар засухи. Он был прекрасен, как пламя, но это опять был тот же самый темный, скользкий Змей, который ужалил Майю.

* * *

— Ну, здравствуй! — произнес Змей голосом телефонного мастера. — На, держи. — Он небрежно сунул Майе невесть откуда взявшийся букет: — Это былина. Полынь. Вот образец последовательности, а? Она горька всегда, беспощадно и неумолимо горька. Своим постоянством она побеждает недругов. Этим она сродни змее, воплощению постоянной ядовитости. Ну что ты на меня так смотришь? — усмехнулся он, ловя оцепенелый взгляд Майи. — Удивлена моими словами? Я много знаю о травах. Это перед вами, людьми, лежит открытая книга, в которой вы ничего не можете прочесть. Корни и змеи ближе к земле и друг к другу. Ведь и в вас слиты воедино созидание и разрушение, доброта и злоба. Так и мы с растениями сосуществуем рядом. Но слишком сильны они в борьбе за душу человека, а нам нужна она вся, без остатка. Цветы, травы... сколько мы ни запускали в их стан лазутчиков — цикуту, аконит, дурман, — ничто не поколебало их единства. Сплетение их корней теснее сплетения наших колец. Они вырвали у моего брата Змееносца победу. Теперь результат этой победы цветет у тебя на подоконнике.— И ядовитый смешок Змея пошел кругами вокруг Майи. — Неужели ты думаешь, что я могу быть споко-

ей? Только красота спасет мир, вещают ваши мудрецы. Они правы, к несчастью. На Земле красота живет рядом с ложью и правдой, но вы не умеете брать у нее уроки. Вам достаточно сказать: «Ах, как прекрасно!» — и отвернуться. Не то, не то... Красота отнимает дыхание и дарит слезу, вот в чем ее сила. Какое счастье для нас, что вы ничего не видите, не слышите, не понимаете! Красота могла бы перекрыть нам путь в ваши души, а вы не прибегаете к ее помощи. Зачем же нам, змеям, посредники между людьми и природой, которые рано или поздно откроют вам глаза и научат вас уму-разуму? Существа, подобные твоему звездоносному цветку?

Змей умолк. Затаив дыхание, словно околдованное, внимало ему сборище Чужих.

— Теперь ты станешь моею. Тотчас после нашей свадьбы ты вернешься домой, и никто из людей не заметит, что вместо ног у тебя — гибкий змеиный хвост. Ты придешь домой и переломишь стебель у цветка. Иначе... Ты видела Катерину-одиночку. Какая удача, что мне удалось заманить тебя на эту поляну в эту ночь. Теперь ребенок будет моим всецело.

И, махнув ослепительно сверкающей рукой, он приказал:

— Начинайте обряд венчания!

Чужие с шепотом и шелестом отпрянули на край поляны. Над змеиным колодцем возникла огромная медная чаша. К ней приблизилась Шемаханская царица и вопросила, обводя взором сородичей:

— Пришла ли полночь?

— Полночь пришла... — пронеслось над поляной.

— Увяли травы с именами, что горчат на губах?

— Увяли... увяли... горечавка... могильник... белена... кровохлебка... осока... мать-и-мачеха... чернобыльник... спорыш... — зашелестело кругом, и Эльза, обежав вокруг поляны, собрала у змеих в золоченое решето увядшие, поникшие травы и с поклоном приблизилась

к Шемаханской царице. Та по одной выбрала травинки, побросала их в чашу, накрыла сверху решетом и протянула к Змею руку. Он тоже протянул ей руку, и крошечная золотистая гадючка пробежала от Змея к Шемаханской царице, скользнула по складкам ее платья, коснулась травы и подожгла ее под медной чашей.

— **Я больше не могу этого видеть.**

— **Да. Но уже недолго...**

— **И что? Она примет змеиный облик? Потом подойдет ко мне как друг и сломает меня?**

— ...

— **Ты жестока!**

— **Я?!**

— **Но ведь все это твое колдовство!**

— **Куда же деваться, если такова правда?**

— Поднялся ли пар над нашим зельем? — вопросила Шемаханская царица, и головы змей потянулись к медной чаше над огнем:

— О зелье... зелье для невесты...

— **Нет. Я не хочу, я не допущу, чтобы Майя была отягощена предательством.**

— **Но ведь она совершит это ради ребенка.**

— **Ну что же... Я была первой, кто научил ее любви к этому ребенку, значит, будет вполне естественно, если я сама прерву свою жизнь ради него. Как друг ради друга. Как природа ради человека, которому она извечно жертвует.**

— А теперь подайте мне базилик! — приказала Шемаханская царица, и зеленоватая рука тотчас протянула ей пучок травы, слегка пахнущей горечью. Чужие испуганно отшатнулись от чаши.

— **Губить целую планету ради...**

— **Это кажется тебе неразумным?**

— **Да. Нет. Не знаю.**

— **Известные вам законы благоразумия ничтожны в сравнении с тем, чего вы не знаете, не спокойное мудрствование оттачивает разум, а возвышенные тревоги,**

величавые страдания и благородные радости. Неужели ты думаешь, что спасение жизни и души ребенка даже ценой моей жизни неразумно? Ведь в этом разгадка вечного сияния небес: на смену одной звезде приходит другая.

— Но послушай... Сейчас Майя будет обвенчана со Змеем, и ребенок ее останется жив.

— Жив... Но проклят?!

— Да...

— Значит, уже тебе придется сделать что-то такое, чтобы моя жертва не была напрасной.

— Что ты задумала?

— Скорее переломи мой стебель.

— Я?!

— Ты не хочешь вмешиваться? Предпочитаешь, чтобы я погибла от рук Майи? А потом ты будешь наблюдать за гибелью ее и ребенка? И на этом закончится твое колдовство?

— Я не знала, я не думала, что ты можешь решиться...

— Посмотри! Сейчас ее окропят чародейным зельем — и всё будет поздно!

— Погрузим базилик в зелье и свершим обряд!

— О зелье, зелье для невесты!

— Не могу!

— Я на прощанье дам тебе надежду. Ты тени птиц убитых стереги сегодня ночью... Все, базилик над Майей занесен. Еще мгновение — и страшное свершится, прошу, молю тебя спасти ее!

— Ну так прощай!

— Звезда Денеб — запомни это имя...

Базилик, роняющий тяжелые капли зелья, выпал из рук Шемаханской царицы. И словно бы тяжесть упала с плеч Майи. Золотой Змей, стоящий рядом, отшатнулся. Его ослепительное лицо увяло, стало серым. Злобное изумление выразилось на нем.

— Опять! — взвизгнул он. — Опять цветок спасает человека! Опять я обезоружен его добротой!

И под разочарованный рокот грома мгла легла на поляну, и в ней растворились змеи, змеихи, змееныши, змеиный колодец, змеиные цветы и сам Змей Огненный.

* * *

Майя слепо побрела вперед, натыкаясь на кусты. Буквально через несколько мгновений она почувствовала перед собой холодную стену. Постаралась взять себя в руки, напрягла зрение и увидела, что стоит, прижавшись к фасаду своего IIIII экологии.

Деревянными ногами она прошла через сквер, откуда ее совсем недавно увела Катерина-одиночка, воткнулась в автобус. В лесу была ночь, а здесь еще вечер. Дорогой Майя словно бы спала на ходу, просыпаясь, чтобы повернуть, спуститься по лестнице, войти во двор... Окна ее квартиры ослепли от света заката, и Цветицы не было видно. Майя оглянулась. Казалось, где-то далеко-далеко, уже за горизонтом, цветет огромное поле клевера...

— Как снисходительна, легка и милосердна улыбка заката! А он уходит и безвозвратно уносит с собой день жизни. Нет ничего более жестокого, чем та ласковая улыбка.

Майя вошла к себе. Цветица лежала на подоконнике. Она была как будто прежней — и в то же время другой. Так похожи и отличны друг от друга цветок — и его подобие, распластанное «на память» между страницами книги.

Теперь Майе стали понятны последние слова Змея.

Она опустилась на колени и склонила голову на подоконник, рядом с Цветицей. Что настало потом? Забытье, бред? Но в стекло настойчиво, словно порывы ветра, бились какие-то серые плоские тени.

Распахнулась, ударилась о стену дверь. Влетела, грохоча каблуками, колдунья. Ее синее платье взлетало над коленями. Словно не видя Майи, бросилась она к окну и растворила его. Серые тени задели поникшие плечи Майи. Колдунья осторожно подняла с подоконника Цветицу, и серые крылья приняли ее. Медленно потянулись тени к быстро темнеющему небу, к далекой, ясной, печальной звезде, похожей на крик птицы.

— Кто это? — с трудом поднялась Майя с колен.— Кто они?

— Тени убитых птиц. Они унесут Цветицу туда... может быть, там она... — Голос колдуньи прервался.

— Звезда, какая это звезда? — отчаянно спросила Майя как о чем-то жизненно важном.

— Денеб! — донеслось из-за двери, со двора, с дальней улицы, из ночи и темноты.

И тут сон пожалел Майю и вычеркнул ее из жизни. Спи, тоска! Спи, горе! Спи, мечта! До утра, спокойной вам ночи!

* * *

Майя проснулась от унылой мелодии. «То ли птица плачет, то ли душа моя меня не отыщет никак?» — подумала она сквозь дрему. А душа ее всю ночь металась между звездами, тщась настичь тени птиц, унесших Цветицу, но далеко улетели они. Далеко был таинственный Денеб...

Майя встала и по привычке шагнула к подоконнику, но тут же заставила взор устремиться поверх пустого цветочного горшка. Метель пела монотонную песню, а стекла окон вторили ей.

За окном был сад теней. Только ветер утешал опавшие, приморо женные листья. Сухие будылья торчали из сугробов, как тела растений, казненных Зимой. Деревья впали в спячку. Ветер пытался разбудить их, затеяв перестук ветвей. Деревья недовольно отмахива-

лись сквозь тяжелый сон, прервать который было невозможно.

Майя вышла в зиму. Неужели у реки теперь всегда будет это рябое, старое лицо?.. Степенно подошла ворона, оставляя на снегу вязь крестов, вспорхнула на ветку вровень с Майей и внимательно заглянула ей в глаза. Майя стремительно пошла прочь.

Надо было жить. Днем она заглушала мысли грохотом машинки, а утром и вечером, когда волей-неволей приходилось в толпе добираться на работу или домой, думала: «Люди словно и не видят зимы. Иногда чудится, будто всем вокруг легко, и спокойно, и счастливо, и только твоя одинокая душа то устало бродит, то неистово рыщет, то бестолково мечется по миру. Чего она жаждет? Кто утолит ее печали?»

Теперь она во всех встречных ловила приметы Чужих и порою находила. Даже удивительно: много их было, много, и неужели так будет всегда?

Нет, Майя боялась заглядывать в будущее. Сама себе казалась она недописанной строкой. Следующее слово было неизвестным, впереди лежал белый, как зима, как неопределенность, лист бумаги, ее жизненного пути, над которым мучительно замер сочинитель...

Дни текли, как лунный свет сквозь листья. Снег смело ветром, и планета была пуста, гола, только коровы вмерзали в пространство. Стало совсем худо, ведь, когда лежал снег, оставалась надежда на дерзость подснежников. А что пробьется сквозь эту стылую корку, в которую теперь была заключена земля? Летние, отягченные дождями облака блуждали по небу в полном недоумении: их приношения были никому не нужны.

Майя чувствовала себя чем-то вроде этого облака. Ее жизнь была так же никому не нужна теперь. Разве только ребенку, но он лежал на своем месте тихо, словно затаившись или боясь. И сама она опять начала побаиваться его появления на свет.

Минуло несколько холодных, одиноких вечеров, и

бог однажды телефон Майи зазвонил. Она сначала даже не поняла, в чем дело. Отвыкла от его живого голоса. Схватила трубку:

— Алло!

Странно — телефон по-прежнему звонил, требовательно, даже назойливо.

Майя постучала по рычажку, положила, потом снова подняла трубку, потрясла аппарат — звенит! Ну что ж ты будешь делать?!

— Ну, я слушаю, слушаю! — крикнула она трубке сердито. — Я здесь! Говорите!

Звонки тотчас прекратились, но еще отдавались в ушах, и поэтому Майя не сразу разобрала слова:

— Ужасно рад, что ты готова выслушать меня еще раз.

Майя застыла, прижав трубку к виску. Снова начинался змеиный кошмар! Избавиться от него!.. Она с размаху швырнула трубку. Телефон обиженно взвизгнул, а по комнате прокатился шелестящий смешок:

— Ох-х-ха-х-ха! Да оглянись же!

Оглянулась... Высокий и тонкий черный силуэт прислонился к притолоке.

Майя невольно зажмурилась, вспомнив, как ослепляло ее обличье Змея Огненного, и этот черный опять захохотал:

— Полно тебе! Давай поговорим!

Майя по привычке, в поисках защиты, бросила взор на подоконник. Змей издал не то короткое шипенье, не то усмешку, но тотчас его лик принял темное, почти скорбное выражение:

— Вот, вот, об этом я и хотел с тобой поговорить, моя дорогая. Моя дорогая!.. Ну уж коль ты равнодушна к моим молитвам, не слышишь призывов благоразумия... нельзя же быть такой жестокой к другим людям, ко всем живым существам. Посмотри только, что ты устроила!

— Я? — слабо попыталась удивиться Майя, сразу поняв, о чем ведет речь Змей. — Но ведь не я же!

— Не ты?! — возмутился он. — Эта твоя... как ее там... — Опять короткое шипенье прорвалось из его горла. — Она уничтожила себя из-за тебя. Вот и получается — ты во всем виновата.

И впрямь, обреченно подумала Майя и опустила голову. Цветица погибла из-за нее? Да. Поэтому вся Краса Земли в трауре. Только люди не понимают этого, думают, опять чья-то прихоть перетасовала времена года. Дети Природы, однако, были более сведущи, и Майя ловила неприязнь даже во взгляде соседской кошки. Да что кошка! Чудилось, и звезды отвратили от нее свои милосердные очи. Да и сама она могла смотреть на себя только с ненавистью, понимая, что тот, из-за кого погибло живое существо, тоже достоин казни.

— А что? И очень даже запросто тебя могут предать смерти, — сочувственно покивал Змей. — Вообрази, что будет, если по истории с цветком-Вселенной станет известно не только кошкам и звездам, но и людям!

В мысли ее он вполз, что ли?! Однако поползновения его ясны. И хоть слова «змей» и «шантаж» смешно смотрятся рядом, что же это, если не прямой шантаж?

Змей насупился. Будь у него хвост, он сейчас с яростью свил бы его в тугое кольцо. Но Майя смотрела без страха. Прошел первый шок неожиданности, что мог сделать ей Змей сейчас, после того, как Цветица пожертвовала собой? Что может быть сильнее этого страха и горя? Разве что горе всей Земли. О, если бы можно было воскресить былое! Деревья, небожители земные; травы, цветы, простые на вид, но не зря уверяют мудрецы, что Природа равную силу прилагает, поднимает ли бурю на море, изукрашивает ли ваши лестки, — и все это принесено в жертву Майе. Не велика ли цена? И не пора ли теперь ей платить долги?

Змей так и взвился. Конечно, ему ведь только это и надо.

— Ну и что? — попытался он прикрыть свой восторг обидою. — Каждый имеет свой расчет. Мне нужно дать благословение ребенку — тебе нужно, вернее, ты должна вернуть живое на Землю. По-моему, равный обмен. И вообще, не пойму, чего ты так переживаешь? Зачем тебе изображать мать-одиночку? Или я так уж плох?

Он обидчиво поджал губы, а Майя слегка усмехнулась. Всегда, встречаясь с нею, Змей принимал какой-то новый образ. То насильник телефонный мастер, то вкрадчиво-элегантный Смок, то властный, как молния, Змей Огненный... А теперь ведет себя, словно какой-то наглый забулдыга. Понятно, сейчас-то уж Майю не надо соблазнять. Оттого и угас в Змей блеск.

Странно, неужели он не проник в эти мысли? Однако что тантся в его напряженном взоре?.. Майя смотрела, смотрела в темные мрачные глаза — и наконец начала понимать:

— А что, ты все-таки мог бы... в обмен... вернуть мне Цветицу?

— Цветицу — нет, — категорично произнес Змей, гибким движением выставляя ладонь. — Цветицу — нет. Все остальное вернется само, если только ты...

— Если я принесу себя в жертву, да? — всхлипнула Майя и уже готова была выкрикнуть: нет! — когда в стекло вдруг жалобно поскреблась мерзлая ветка.

Майя подбежала к окну, распахнула форточку, схватила тополь за руку, сжимала ее, целовала, гладила. Нет, ветка была бесчувственна, да и тополь весь не затянешь в квартиру, не отогреешь ни его, ни земли уснувшей. А когда-то, совсем недавно, на этом окне жила Цветица. Ее мир! Мир каждого дерева, цветка, листа! И Майя вдруг вспомнила старые, когда-то любимые строки, словно это ветка подсказала их:

Принесли букет чертополоха,
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар и суматоха,
И огней багровых хоровод.
Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.
Это башня ярости и славы,
Где к копью приставлено копье,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезались мое...

Майя вздрогнула, словно укололась невидимыми копьями.

«Вот, значит, что? — в смятении подумала она. — Как же я не знала этого раньше? Почему об этом не написано во всех тех статьях и диссертациях, которые я перепечатываю целыми днями?»

Она соскочила с подоконника и замерла посреди комнаты, не обращая внимания на притихшего в углу Змея.

Задиристый мир чертополоха, нерассуждающее сладострастие кометы-росянки, алчное солнце тюльпана, коварство метеоритного роя нарисов, наивная откровенность луны-ромашки, голубой смех утреннего неба-василька, звезды гвоздик... О боже, так ведь живой мир таится в каждом цветке. И сама Цветница — тому подтверждение. Да и как можно было не услышать безмолвных уроков, которые сопровождают нас всю нашу жизнь?

Человек, бедный одиночка, лишенный оберегающих и наставляющих инстинктов, он учится на своих, только на своих ошибках, и все для того, чтобы совершать их снова и снова. Мы пришли на землю последними и, по-

любо неуверенным детям, делаем открытия там, где другим обитателям нашей планеты все давно ясно.

У кого же спрашивать совета человеку? Птица и зверь сторожатся его. А ведь рядом с ним, вокруг него есть другие учителя, молчаливые, но доброжелательные, целая школа мудрости! Человек в своих науках разъял цветок на пестик и тычинки, вычислил траектории полета семян дерева, выжал из травы соки для лечения своих хворей — и просмотрел при этом главное: разум и чувства растений.

Некто мудрый сказал [illegible] растение в борьбе за жизнь поступает [illegible] в к. Ох уж эта вечная страсть к [illegible] наоборот ли? Человек уверен, что [illegible] Но нет. Просто разум, который [illegible] всех формах жизни, ярко и [illegible] человеке. Заслуга ли человека в [illegible] была отметить именно это? В [illegible] или иначе, но свет разума бросает [illegible] человека. Однако существуют, внешне [illegible] и чувства растений. Деревья, цветы, травы [illegible] умирают, испытывают жажду и боль, страдают, любят, помнят...

Только-только новая мысль Майи начала расцветать, как голос Змея снова вернулся из угла:

— Ну вот, наконец-то ты поняла!

Да. Майе ничего не оставалось, как склонить голову. Но как произнести роковые слова? А Змей уже не давал передышки.

— Впрочем, может быть, ты не веришь, что жизнь вернется на землю, если ты согласишься? Пойдем. Я тебе покажу кое-что.

Они спустились с крыльца и прошли по двору к воротам. Майя настороженно поглядывала по сторонам. Ну и что? Все по-прежнему пусто, голо.

— Ничего, ничего! — подбодрил Змей. — Сейчас!..

Неясный шорох послышался позади Майи, словно кто-то бежал вдогонку на цыпочках. Она испуганно

обернулась, ожидая подвоха, нападения, чего угодно, — и увидела, что ее следы зарастают крапивой.

Вечная спутница бед и разрушений, она торопливо обживает развалины, стремясь скрыть раны, нанесенные человеком. Она первая из растений почуяла разрушительную силу тоски Майи и отправилась врачевать кровоточащие следы ее.

Майя смотрела на шевелящиеся, шершавенькие листики как зачарованная. Нет, не видела она ничего чудеснее этой воскресшей жизни! И как чудовищна пустота обмерзшей земли вокруг.

— Я согласна! — выкрикнула Майя, не помня себя.

Змей сверкнул — и мгновенно исчез. Словно и не было его. Таял в воздухе радостный отзвук:

— Мы явимся за тобой, когда время придет. Помни наш уговор!

Но Майя едва [illegible] его слова. Потому что, взломав стылую корку, [illegible] на свет лиловый прострел. Звона его пуш[illegible] колокольчика никто не слышал, но ему вторил [illegible], и одуванчик, и кукушкины слезки, и ландыш... Однако Майя, упав на колени среди всего этого полузабытого благоухания, поцеловала раньше всего листик крапивы. Боль ожога напомнила ей условие Змея, но сейчас это казалось не такой уж горькой ценой.

* * *

— Цветица. Ты просила меня помочь Майе. А кто поможет мне? Я намеревалась распрощаться с ней после твоей гибели, но теперь не могу бросить ее, иначе твое самопожертвование окажется напрасным. Я научила Майю видеть в каждом растении твое воплощение, но привело это только к тому, что она сама теперь готова на жертву. Что же мне делать? Кого призвать спасти Майю? Тебя нет. Остались вокруг нее одни Чужие. Они казались ей похожими, потому что их объединяет

зло. А где же единство добра? Неужели только цветы защитят ее от Змея?

Колдунья понуро стояла перед большим плакатом с надписью: «Астрономический календарь природы». В верхней его части грубо изображались созвездия Северного полушария. Там, словно оперение стремительной стрелы, была обозначена звезда Денеб.

Колдунья зажмурилась в отчаянии от своей растерянности, от ответственности, которую сама себе взвалила на плечи, и два смутных образа возникли в ее сознании: Любимый и Катерина-одиночка.

И едва начали с[illegible] обрывки мыслей, как кто-то тихо постучал в [illegible]

Колдунья [illegible] и удивленная. Ведь в полик[illegible] не ступить из-за беременных [illegible] пустота. За все долгие дни Белого Тра[illegible] родился ни один ребенок, словно [illegible] скать детей своих в эту нежить. А [illegible] пришел проситься на свет?

Она распахнула [illegible]. Это был совсем незнакомый [illegible]! Высокий, в толстом свитере, грубых штанах, кирзовых сапогах, заросший и длинноволосый, он был до того странен среди стерильных стен поликлиники, что колдунья невольно преградила ему путь. И незнакомец вскинул бровь:

— Но ведь ты меня только что позвала!

— Я? — не веря ушам, пробормотала колдунья, но вдруг, все поняв, всплеснула руками: — Так ты — Любимый?! Как же я тебя не узнала?

— Да ведь мы никогда не виделись, — улыбнулся гость. — Ты придумала мое отсутствие раньше, чем нарекла меня именем, раньше, чем дала мне облик. Немудрено, что не узнала.

— Так вот ты какой! — ревниво всматривалась колдунья в лицо своей очередной выдумки. — Да, да... По-

лож, как же ты похож на... Впрочем, это неважно. Главное, что ты жив. И очень вовремя явился.

— Если бы сама вернула меня раньше, Майя не попала бы в беду, — пробормотал Любимый.

— Если бы я призвала тебя раньше, сказки вообще не было бы, — рассудительно ответила колдунья.

— Сказка твоя!.. — отмахнулся Любимый и тут же с тревогой спросил: — Скажи, неужто ты вызвала меня из небытия, чтобы снова туда отправить, даже не дав повидаться с Майей? Это жестоко!

— Я не знаю, — искренне молвила колдунья. — Не знаю, поверь! Это будет зависеть от того, осилим ли мы Змея.

— Мы? — вопросил Любимый. — А вот это ты, пожалуйста, оставь. Достаточно, что в этой сказке и так все добрые дела взвалены на плечи женщин. Гляди, обвинят тебя в мужененавистничестве! Сиди и пиши — вот твое дело.

— Конечно, — согласилась колдунья, чуть заметно усмехнувшись. — Но пока ты будешь сражаться со Змеем, я должна найти его кожу, чтобы ты ее сжег, понимаешь? Я знаю травы, среди которых она схоронена, а ты... у тебя сила в руках. И эту силу мы умножим. Не зря же я читала стихи, сказки и старые книги о змеях.

Парила колдунья Любимого в трех водах, в трех щелоках мыла, обдавала отваром чертополоха, отгоняющего вражью силу, и тонкого желтого донника, отворяющего вражью кровь. Потом плескала колдунья тот отвар на лес и на воду, чтобы не было от них подмоги Змею.

Брала колдунья лозинку, гибкую, словно змейка, клала ее в новый глиняный чан, колола веткой шиповника и приговаривала при этом:

— Как эта лозина бьется-мечется, так пусть Змей Огненный бьется-мечется, погибая.

Срывала колдунья кору с лозины и кору эту сжигала, приговаривая:

— Как сгорит эта кора, так пусть сгорит Змеева кожа, лишив его жизни.

Потом брала колдунья рубашку Любимого, разные травы вшивала, злые травы, губительные для врага, и первой среди них была [illegible], которой придана сила, оцепеняющая зм[illegible]

А потом разы[illegible]ную траву» — как называли древние че[illegible] его положила в сапог Любимому, д[illegible].

Не было лиш[illegible] Но первое средство от злых оборотне[illegible] Быстрогал Любимый себе меч из [illegible] на змеиную поляну.

Спешил он [illegible] приходит Майе время [illegible]ать слово, данное Змею!

Ох, ско[illegible] пору бедную душу Майи! Дитя росло [illegible]ался день расплаты. «Может быть, Ч[illegible]?» Она никуда не ходила, торопи[illegible]ткнулась на кровать в первом страхе, [illegible]ильнувшее к стеклу зеленоватое, мерцающее [illegible] Эльзы. Вскрикнула Майя, но Чужие уже ломились в дверь.

Майя не давалась, но Чужие облепили ее холодными, скользкими телами, тугим клубком выкатились из комнаты на лестницу, с лестницы во двор, со двора на улицу, с улицы в чащу, все ближе и ближе к синей груде камней на змеиной поляне.

Но там уже ожидал врага воин, и, когда, в переливах дождя, пронеслась по небу молния и ударилась оземь, чтобы обернуться Огненным Змеем, он встретил врага поднятым мечом. Ткнулся Змей в осиновое острие, повис над воином и уставил в него огненный взор свой. Тут бы и обратился богатырь в горюч-камень, да не зря ворожила колдунья.

Смекнул Змей, что лихо ему придется, и решил взять противника подкупом. Махнул он огненным рукавом, рассыпал искры, и там, где коснулись они земли, заиграло летучее пламя, отворились клады. Не блеском монет манили они — блеском богатств Земли. И приковали клады взор Любимого, потому что когда-то давно, еще до того, как засмотреться навеки в глаза Природе, он был искателем сокровищ Земли, геологом.

— Откуплюсь, чем только пожелаешь! — громыхнуло в небесах. — Бери злато, серебро, каменья самоцветные, змеиное молоко — ртуть, белый свинец — олово, ярую медь и черный уголь!

Поник меч в руке воина, но во все века обычаем змей было вероломство, а потому тотчас обрушились на него дым, пламя, бурные вихри. Ядом наполнился воздух.

А колдунья между тем искала Змееву кожу. Конечно, она должна быть где-то здесь, неподалеку от поляны синих камней, скрытая в чаще трав, притворившаяся одной из них! И, стоя на коленях в пахучем разнотравье, перебирала колдунья чистотел и медвежье ушко, живокость и лунник, башмачок и дурнишник, белокопытник и журавельник, золототысячник и повилику... Но все травы были теплы, чутки, добры. И вдруг метнулась из земли тонкая медная стрелка! То была трава-медяница, которая зарождается от гниения зловредных гадов и охраняет Змееву кожу. Чуть завидит она человека, бросается на него стрелою и пронзает насквозь!.. Но кружевное опахало папоротника заслонило собой колдунью, когда медяница была уже почти у цели. Упала медяница, и на этом месте увидела колдунья Змееву кожу. Была она гладка, будто вода, и тяжела, как малахит, и холодна, как промерзшая земля; чудно переливались на ней краски и сверкал алмазный гребень.

Лишь коснулась колдунья кожи, как распался клубок Чужих вокруг Майи, и, не разбирая дороги, побежала Майя вперед, оказавшись через несколько мгновений у реки, где дремала, уткнувшись в песок, верная

Змею Катерина-одиночка. А позади, прорываясь сквозь сплетения деревьев, ломились опомнившиеся Чужие, и не было возможности обойти их, и лишь один путь оставался — к воде, и заплакала Майя, не желая умирать. От этих слез встрепенулась лодка, волна ударила в берег.

— **Катерина, ты видишь? Бежит в отчаянии женщина, спасая свое дитя, как ты бежала когда-то. И нет ей пути назад, как не было тебе. Одна только утлая ладья перед нею... Все повторилось, Катерина!..**

Лодка мётнулась к Майе, кренясь, чтобы удобнее было взобраться в нее. Не помня как, очутилась Майя в лодке, и Катерина-одиночка рванулась вперед. Майя зажмурилась от страха и не видела, что сонмище Чужих вдруг замерло, а потом, словно повинуясь некоему зову, опрометью бросилось обратно в лес, на ходу сбрасывая человечье обличие и превращаясь в змей.

Колдунья схватила кожу — и тут же отцвел клад-приманка, рассеялся ядовитый туман вокруг богатыря, а Змей со стоном вознился в дождевую тучу, но так яростен он был, что туча с шипением иссохла, а Змей вновь грянул с высоты. Там, где опустился он на землю, истлела трава, но Змей не бросился на воина, а обманным движением обогнул его, скользя к реке. Любимый решил, что Змей убегает, но колдунья знала, что, когда кожа Змея оказалась в чужих руках, он внезапно ослабел и начал сохнуть от внутреннего жара, и надо было ему немедля унять тот пламень, вернуть силу, окунувшись по обычаю всех змей в воду. Она сорвала сухих стеблей дождника и тонкой горечавки, чиркнула спичкой и бросила огонь на тропу, по которой Змей стремился к реке.

Завыл, закружился Змей, не в силах преодолеть зачарованное пламя, но тут откуда ни возьмись Умная Эльза возникла перед ним с чашей парного молока и потайной травой припутником. С шипением припал Змей

к чаше, высосал молоко и приложил припутник ко лбу — и силы вернулись к нему. Изрыгая яд, кинулся он на богатыря, не заметив даже, что одна капля яда упала на Умную Эльзу, уничтожив ее на месте... Но сколько он ни брызгал слюной, сколько ни впивался взглядом в воина, надежно оберегали того травы. А Змей то взмывал к тучам и носился среди них, сам подобный живой, огнедышащей туче, то ввинчивался в глубину змеиного колодца, чтобы набраться сил в объятиях соплеменников, но Чужих там не было, они преследовали Майю... И Змей вновь и вновь обрушивался на противника. Деревянным мечом не мог тот смертельно уязвить врага, но держался, ожидая колдунью со Змеевой кожей. И тогда, чуя погибель неминучую, воззвал Змей к своему племени:

— Все, кто злобен, кто переполнен отравой, кто коварен, вероломен, жесток, все готовые умножать пороки и поражать добродетели, зловредные и злокозненные, трусливо-жалящие сквозь улыбки, все предатели, клеветники, сплетники, доносители, лжецы и фарисеи, придите ко мне!

Тогда-то Чужие оставили преследование Майи и устремились к своему повелителю.

Зашипел и заскрипел лес, обвитый ядовитыми гадами, и поняла колдунья, что не добежать ей до Любимого. Она бросила Змееву кожу и торопливо зачиркала спичками. Огонь умирал, едва коснувшись ледяной поверхности. Тогда колдунья подгребла сухие травинки, листья, прутики, заслонила слабый огонек ладонями, волосами завесила его от малейшего ветерка, но тщетно.

— **Ох, Цветица, я бессильна!**

Оглянулась колдунья в отчаянии, и взор ее упал на растение с высоким крепким стеблем, с крупными сиреневыми цветками, собранными в тугие небольшие кисти.

— Ясенец!

Головокружительный запах источало растение, и у колдуньи потемнело в глазах, но все-таки она чирк-

нула последней спичкой и поднесла ее к кисти цветов.

Нежно-голубое мерцание окутало растение, колдунья пригнула его к Змеевой коже... Светлый пламень упал на кожу, она вспыхнула черным огнем. А чудесный цветок постепенно погас, и никаких следов огня на нем не осталось. Ведь не зря ясенец зовется в народе неопалимой купиной.

Молния прошила тело Змея. Бешено заметался он, силясь оторваться от земли, то скручиваясь кольцами, то обвивая себя руками и ногами, жаля сам себя. Он чернел, белел, ослепительно сверкал, горя и сгорая в своем огне, и ничто уже не могло спасти его от гибели. И когда последняя огненная стрела пробежала по сгоревшей Змеевой коже, в предсмертном усилии смог-таки он приподняться над лесом, окинул его гаснущим взором. И увидел он, что его подданные снова торопливо напяливают обличие людей и разбегаются из заветного леса, чтобы не возвращаться туда до тех пор, пока оскорбленная Природа вновь не породит Змиевого царя на устрашение оскорбителю своему — человеку. А еще увидел он опустелый змиевый колодец, Любимого, опьяненного победой, и Катерину-одиночку, несущую в своих деревянных ладонях Майю и нерожденное дитя, которое уже никогда не будет отравлено Змиевым поцелуем. И тогда испустил Змей три предсмертных, самых сильных молнии, против которых нет и не было оберега. Уничтожила первая молния то место, где был змиевый колодец, а вторая испепелила богатыря, и никогда не узнать Майе, что воскрес — и вновь погиб ее Любимый. А третья молния достигла реки, целясь в Майю, но лодка резко качнулась, Майя повалилась на борт, и молния ударила не в нее, а в Катерину-одиночку.

И сгинул Змей.

Закричала Майя, стоя в пылающей лодке посреди реки, но Катерина была еще жива. От обугленных бортов поднимался пар, змеилось под ним жадное пламя,

однако Катерина-одиночка плыла. И только на мелководье, выдохнув из последних сил: «Все! Больше не могу!» — она скрылась, всхлипнув, в волнах.

Майя побрела по колено в воде к берегу, а в лесу, обожженном битвой со Змеем, залилась слезами колдунья. Плакала, что она — не собственная выдумка, а потому осталась жива, хотя погибли друзья, что нести ей теперь горе вечной разлуки с их светлыми душами, а пуще всего — что сказка уже рассказана, осталась лишь последняя глава.

Никто не заметил, пока длилось сражение, как волшебник закат в одночасье воздвиг терем ночи, а волшебник рассвет так же скоро разрушил его. Измученная Майя повалилась в траву недалеко от реки и закрыла глаза. После пережитого весь мир представлялся ей пустыней, где властвуют Чужие. Ей захотелось стать цветком, родить семена, множество семян, и засеять Землю, чтобы вернуть добро и красоту, но боль прервала ее мысли. Майя открыла глаза и в солнечном небе ясно различила высокую, ясную звезду. Это была Денеб, альфа Лебедя.

— Цветица! — позвала Майя, вонзая ногти в землю. Ей было так больно, словно рожала она не крохотного ребенка, а целую планету — с лесами, горами, морями, цветами и людьми.

...Напрягся, удлинился стебель журавельника. Отягощенные семенами стебельки резко изогнулись вверх, придав цветку вид диковинного зеленого канделябра. Солнечный ветер взлохматил луг, и цветок закачался, роняя семена.

Головка мака устало поникла и, послушная малейшему движению воздуха, начала сеять свои черные зернышки.

Набухли семена кислички и прорвали оболочку, выбросившись на волю.

Растопырились васильковые хохолки, семянкам стало тесно в корзинке, и они, опираясь друг на друга, вздыбились, готовые к полету.

Откинулась крышечка подорожниковой коробочки, впуская ветер.

С силой расправились тычинки крапивы, поднимая и катапультируя плод...

Майя почувствовала себя равной Вселенной — и самому малому цветку. Она услышала ветер, и увидела пенье птиц, и родила ребенка с глазами зелеными, как молодые листочки. Она [illegible] его своими теплыми слезами и уложила на траву.

Еще одна тайна Природы открылась ей, наполнив душу невыразимым чувством собственного достоинства. Какая неспокойная сила [illegible]лась в крови лежащего рядом младенца, [illegible] кровинкой, и Майя знала, что путь его будет [illegible] труден, сколь труден путь растения. А ее, Матери, дело внушить ему благоговение перед уроками Природы. О, если бы это видела Цветица!..

Дитя ее засмеялось, и Майя повернула голову. Невдалеке по прибрежной гальке катился серый прозрачный шар из прутьев, при каждом обороте равномерно роняя из узких коробочек-плодов по одному семени. Это была верблюдка, перекати-поле.

Дитя уперлось ручонками в землю, поднялось и, бросив счастливый взгляд измученной матери, вначале неуверенно, а потом все быстрее побежало за диковинным мячом. Майя пошла следом.

Расступились зыбкие тела белых берез, и перед ними раскрылась долина, словно великолепный влажный цветок. Ветер прошел по траве большими шагами, и след его долго благоухал росой. По этому легкому следу бежал ребенок Майи, и был он не один.

Медленно планировали, описывая причудливые кривые, крылатые дети льянки. Семена люцерны кружи-

лись, словно косматые солнца. Легкие спирали дикого клевера отправились в путешествие. Реяли, словно тончайшая пыль, семена ночной красавицы. Парили парашютики одуванчиков, безостановочно вращались штопоры ковыля. Прозрачные крылатки ясеня порхали, будто стрекозы. Играли с ветром зеленоватые бабочки семян липы. Летающие тарелки ильма спешили следом.

Бежало дитя Майи, свободное от темноты матери и злобы отца, а за ним по полям, по пескам, по лесам, по зеркалу вод, спешили, освобожденные от векового проклятия — тупой неподвижности — цветы, травы, деревья, и каждое было родной целой Вселенной:

Одуванчик
Незабудка
Адонис

Гвоздика
Осока
Ромашка
Ирис
Тимьян,

Травенка
Ветреница
Омежник
Яснотка

Заманиха
Валериана
Ежеголовник
Зимолюбка
Дремлик
Аконит,

Первоцвет
Рябинник
Истод
Репейник
Обвойник

Девясил
Алтей,
Аир

Вейник
Мятлик
Евтерма
Страстоцвет
Толокнянка
Ежа

Стрелолист

Наперстянка
Единорог
Йодник

Майник
Очиток
Ясменник

Душица
Уруть
Шалфей
Арника

Голубушка
Отавник
Росянка
Иван-чай
Таволга!

— Смотри, Цветица! Летят на праздник жизни лесные и полевые, знаменитые и никому не ведомые братья и сестры твои. Ты видишь?

— Да. Я вижу.

ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ

...И увидел белую лебедушку.
Она через перо была вся золота,
А головушка у ней увивана красным
золотом
И скатным жемчугом усажена...

Древние российские
стихотворения, собранные
Киршею Даниловым

Хрусталь камень когда будет
положен против солнца, тогда
огонь из себя испущает, и порох
пищальный, и иныя вещи зажигает,
а как кто его согреет, то никак
ничего не зажжет.

Книга, глаголемая
Прохладный Вертоград

Высшей волей все стронулось с места.
И душа, о высокой скорбя,
В эту ночь вместе с богом воскресла.
Но заметила только тебя.

Ю. Кузнецов

За творогом не стойте. А мы уже выбили... Касса, я кому говорила?! Мне килограмм. По полки́ло в одни руки! А передо мной взяла женщина... Она была вдвоем! Но я уже заплатила! Что, самая умная, думаешь, да? Господи, ну обязательно нарвешься на хамство! Вижу, на работе недоругалась, сюда пришла? Да скорее вы там! Она не берет, дайте мне. Я беру! Не пускайте, не пускайте! Да вы что, я тут уже полчаса стояла. Вы мне дадите мой творог или нет?! Берп свои полкйла и иди, не мешайся работать!

Банку для сметаны взять за крышку, а дном стукнуть о железную полосу на прилавке. Мгновение испу-

ганной тишины — и прежде чем она снова разинет пасть, надеть на нее намордник из стекла!

Куда лезете, что, не успеете? Пройдите, ну пройдите же вперед! Ну свободно же в середине! Передайте. Спасибо. Передайте. Держаться надо! Ох, я не посмотрела, это не экспресс? Черный или красный? Черный, черный. Вы на следующей выходите? Разрешите. А... а почему он проехал? Он же черный! Экспресс следует до остановки «Южный микрорайон». Да почему экспресс, он же был с черной табличкой?! Вот везуха, да, через полчаса будем дома! Нажмите на кнопку, пусть остановит! И правильно, пусть, пусть люди замерзли... Девушка, что вы лезете в кабину! Господи, что, ему трудно притормозить? Вон в [illegible] автобус всегда по требованию пассажира... Сид[illegible] лучше дома, не забивали голову ерундой. Ну, [illegible], пусть только остановит... Мерзавец, конечно, [illegible] вы не волнуйтесь так, девушка. Остановка. [illegible] не стыдно! Чего орешь, смотри, не видишь, красная табличка! Он переставил таблички, пока ехали, что за скотина, была ведь черная!

Вон те двое парней в [illegible] шапках сейчас подойдут и выдернут его из кабины, приткнут к мерзлой автобусной стенке, и его рожа сразу перестанет быть наглой, он из тех, кто нарочно ждет, пока ты, задохшись, добежишь до автобуса, и сразу закрывает дверцу перед твоим носом и уезжает!

Холодно. Холодно. Пальцы... Молоко тяжелое, не надо было... не могу. Трамвай! Нет, «четверка». Холодно. Холодно. Автобус! Боже мой, еще и в окно свистит! Ног нет. Как холодно. Боже... Да, выхожу. Выхожу, вы что, оглохли? Я вас вежливо спросил... А я вам вежливо ответила! Да пошел ты! Холодно. Осторожно... Черный лед. Звезды колют глаза. Господи, до чего хо... Это я, я! Да отстань ты с котом, я не дышу! Возьмите же сумку. Руки не держат, там ведь молоко! Ты пока шла, так избурлилась? А что, посуду помыть некому?! Я вы-

швырну кота, если за ним еще раз будет не убрано! Мама, мне к завтраму по математи... Опять не сделаны уроки?! Иди сию минуту! Ты почему не идешь за стол? Ешь, потом сделаешь. Ты что, сам не можешь чаю налить? Ждешь, пока прислуга придет? Не скреби ложкой! Слушай, кто тебя завел, ты же сейчас нас кусать будешь. Опять ешь без хлеба?! Ох, догрызешься ты на работе... А ты не каркай, не каркай! Хлеба свежего опять не купили! Тебе в магазин командировку выписывать? Почему не ешь котлеты? Ну так заработай на оперативную говядину! Опять желудок хватает? Господи, я понимаю, на фронте ранило бы, а то эта бормотуха!.. О, творог же я купила! А самому взять — руки отпадут?

Ножом ткнуть себя чуть ниже кисти, где перекресток голубых венок. Струйка — тугая, мгновенная? Или тягучая ленточка? Наточить кровушку в рюмку — на, пей! Ну пей! И напейся, и...

Всё. Всё.

Зимняя ночь — холодом спеленутый колокол. Надежно замотан! Но кое-где треснула на полновесных изгибах суровая черная ткань, и в прорешках сквозит неугасимое, серебряное...

Батарея сожгли колени, а грудь пристыла к черному стеклу. Или нет уже во мне тепла? Или не одолеть этого холода? Открой окно! Визжит крахмал и тонко пылит вата. Клочья тепла инеем — на асфальт. Прижмись к ночи щеками! Теперь уже не оторваться, только с кожей. Помнишь, как в детстве схватилась за мерзлую скобу? Грей, грей ночь, растопи черный снег! От холода жарко сердцу. Господи, ну где же ты, свет?!

И вот, словно настороженный взгляд, первый, блеклый луч просочился сквозь стынь. Ох, скорее, сил уже нет! Расползается ночь, дотлевает костер тела. А светлее, все равно — светлее! Вон сизая заводь, крыло тумана, полегла остролистая трава. Туман расцветает...

Чего ты тут торчишь, Настасья? Иди спи. Не хочу. Ой, какая холодющая, дурочка. Вечно у тебя слезы не из чего. Из чего! Да ладно. Тебе вредно долго общаться с «народом». Ходи в магазин утром, пока нет очередей. Утром я на работе. Ты это своему Главному скажи! Ну постой. Ох, как ты замерзла. Иди ко мне.

Будешь обнимать, не прижимай крепко, а то раскваснтся в руках вязкая гниль...

Не хочу. Я спать хочу. А я не засну без тебя. Иди, ну... Я спать хочу! Успеешь.

Лежал ли там камень, на бережку той сизой заводи? Сплетется ли из осоки веревка? Спокоен ли сон на желтых песках, в шелковой траве, что скоро пробьется меж пальцев?

Как из белого тумана, из-под крила небесного, выезжал на берег Охотник-удалец. На плече у него ясен сокол, на другом — ружьецо огнеметное, у стремени — охота* проворная. Ехал он от темна и до свету, ехал через леса-раменья, через рощи заповедные. Не раз тянулась рука навострить поставухи-пленицы**, пустить ловчего сокола в небо высокое. Однако, опасаясь богов прогневить, живота поберег своего — миновал он рощи заветные, где не то что охотничать — ломать ветку малую заказано.

Вырыснул он на речной простор, свистнул-гаркнул громким голосом: есть где разгуляться на волюшке! Поглядел на теплые, тихие заводи, поглядел на зеленые затреси. Воткнул он копье во сыру землю, привязал коня за остро копье, снял с плеча ружье — службу верную. Вспоминал удалой Охотник, как вчера, в дальний путь собираючись, он стволы завораживал дымом Колюки-травы, чтоб ружье не давало промаху. Заряжал

---

* Охота — здесь: охотничьи собаки.

** Поставухи, пленицы — силки, ловушки.

его картечью-лебедянкою: на тех-то на тихих заводях есть чего пострелять-потешиться, видимо здесь невидимо гусей да серых уточек, словно тучка серая реку покрыла.

Только стал Охотник дичь выцеливать, как повеял ветер буйный, размегал по воде стан птичьи, словно клочья тумана легкого. Разлетелась картечь попусту! Ох, сердился удача-Охотник! Бросал он ружье на сыру землю, пускал с плеча ясна сокола. Взвился крылатый помощник, погнался враз за сизым гусем да за серой утицей. Так и сгинул где-то за облаком! Непускал тут Охотник слово злобное, хмурым взором реку окидывал. Синевою заводи светятся, низко стелется трава остролистая — никакой добычи не видит он, пропадает удаль охотницкая!

Тут принес вихрь легкое облачко, рассыпалось оно белым снежком... Нет, не снег это, нет, не облако — парит над рекой лебедь белая. Опустилась на быстру волну — тихой гладью волна сделалась. Колышется лебедь на воде — на все другая из глубины глядит. И ни ветра уж нет, ни шороха...

Вынимал тут Охотник тугой лук, доставал из колчана стрелку каленую, натягивал тетиву шелковую — заскрипел, застонал его лук — верный друг.

Видя погибель свою неминучую, изогнула лебедь шею белую, забила по воде крыльями. Глядит Охотник — дивуется: головушка у лебеди унизана скатным жемчугом, шея красным златом повита, да и сама она через перо золота. Не волна в берег ударилась — возговорила птица человечьим голосом:

— Не губи, стрелок, моей головушки, не своди меня со свету белого!

Слухменный был Охотник, а тут почудилось, что ослышался...

Взмыла лебедь ввысь, пала лебедь вниз, о сырую землю ударилась, покрыла пером белоснежным ее. Глядит Охотник — не верит глазам: на траву лебяжьи

одежды сброшены, а перед ним стоит девица-красавица. Иль из пены речной она вынырнула? Иль туман ее на качелях принес?

Всем девица взяла: ростом, дородством, угожеством. Зеницы у нее долгие, брови черные, соболиные. Грудь у нее лебяжье-белая, коса сверкает на солнышке. Шаг шагнет — словно жемчуг пересыпается. Такой чудной красы око не видело, ухо не слышало.

Засмотрелся Охотник на ее красоту неописанную, на ее на тело на белое, отуманила его любовь горячая, запел, засвистал он сладким голосом, раскатился трелью соловьиною.

И лицом молодец красив, и умом смышлен, и ростом взял. Приглянулись девице его брови черные, очи соколиные, ухватка богатырская понравилась. Одна пагуба его — похвальба...

— Ты иди за меня, зазноба молодецкая! Ветру я не дам на тебя венуть!

Говорит, а сам ближе придвигается. Заслушалась непривычных слов девица, изловчился Охотник — хвать с земли сорочку пернатую! Крепко держит добычу свою, выжлец верный зубы навострил.

— Иди добром, — Охотник настаивает. — Не пойдешь — насилкой возьму тебя.

Залилась слезами Лебедь, да что уж тут... Подобрала с травы малое перышко, пустила она его по ветру:

— Ты лети-полетай, мое перышко, погуляй до поры до времени. Коль спросит кто обо мне, скажи: по чисту полю она залеталася, соловьиных песен заслушалась!

Утерла слезы горькие девица, обратила взор на Охотника:

— Ну, твоя, свет, воля добрая. Видно, судьба мне твоею быть.

— Век тебя буду любить, — давал обет добрый молодец. — И до смерти, и после нее!

Молвил он слово торопливое — и словно хладом мо-

гильным в лицо повеяло! А Лебедь Белая говорит в ответ:

— После смерти? Беру я слово твое, кладу завет: кто из нас умрет, так другому за ним живым в землю идти! Слово — не птица, не собьешь его картечиной, колом не скогтишь его, когда оно с языка срывается, в дальние дали уносится. Не вернуть слова улетевшего!

Вскипела тут кровь молодецкая, молвил Охотник запальчиво:

— Мудрости ищешь над суженым? Но гляди, гляди, Лебедушка: пусть мне потом в могиле быть, но греха не спущу тебе ни малого. Моя стрела поперек полета твоего просвистит.

Брал он в седло добычу драгоценную — только и видели его заводь синяя, трава остролистая да вольный простор.

Привез Охотник [illegible] Лебедушку, а там — честным пирком да за свадебку. Повенчали их да привели к присяге такой: кто первый умрет, так другому за ним живому в гроб идти. Под порог старушки всеведущие положили замок незакрытый, и, когда жених с невестой порог перешагивали, замыкали замок крепко-накрепко, ключ топили в глубоком колодезе: жили б муж с женой в любви да согласии. Ну а ночью помстилось Охотнику, будто старая бабка-задворенка, что ему, мальцу, сказки сказывала, шепчет в ухо слова непонятные:

— Погоди-ка мять красу девичью, сыщи прежде Любовь ее! А она далеко запрятана: дуб стоит на той стороне моря-окияна, на дубу, на цепях, сундучок висит, в сундуке — перстенек, в перстеньке — ставешок*, в ставешке — хрусталек, в том хрустале ее Любовь!

Отмахнулся Охотник от морока. Сказки-байки давно позабытые! Эвон где тот камень-хрусталь, поди-ка сыщи его! Как оставить тело жаркое Белой Лебеди?

На том дело и кончилось.

---

* Ставешок — камень в перстне.

...И как всегда, в звоне будильника что-то злорадное, и уж который раз одновременно с ним, ровно полседьмого, возникает лицо Наденьки, словно это ее рот изрыгает требовательный скрип: «Пор ррр-ра!»

Еще с закрытыми глазами добрести до кухни. Первый отзвук из мира людей: «Сегодня днем ожидается... давление... ветер... возможен небольшой...» И ползти на вторую ступеньку пробуждения: глубоко вдохнуть струю газа, пока ее не пожрал мгновенно расцветший под чайником синий цветок. Размешать с сахаром молотое железо из банки с надписью «Кофе растворимый», и, когда раскаленные опилки взовьются в колодок, заскрипит наконец маховик, шестеренки [illegible] дел, повинуясь приводному ремню-[illegible] начнут вертеться. Воткнуть в розетку пальцы [illegible] с вилкой утюга. Электрический разряд — и ракета на старте. Смахнуть пыль, торопясь, смазать корпус, вытряхнуть из постели смятую сном оболочку — сонную дочь, надуть ее воздухом поцелуев, шлепков, заданий, приказов, окриков, любви, раздражения, — а если вдруг забыть сделать все это?! — и выгнать на мороз, где в сотне шагов раззявила пасть звенящая огненная печь, которая ежегодно выпекает десятки пирожков со средним образованием.

А самой спешить, уже стучит в затылок клювом птица Время!

И постоянно ощущаешь, как набирает обороты маховик, и кажется, если сейчас откроешь рот, издашь только тик-так, тик-так.

Ну, осталось натянуть чехол, чтобы не ободрался изношенный корпус о тысячи других ракет, что уже свистят по тротуарам.

Двери, конечно, наставили зубы, у них отработал четкий рефлекс: шаг за порог — успеть схватить — куда?! вернись! здесь твое место! здесь твоя будка! здесь твой хозяин!

Но годами выработан и навык бегства: сжавшись,

сделать бросок — голодно лязгнут клыки — и с лестницы кубарем, быстрее бурлака-лифта, грудью проломить стену внизу, которая тут же сомкнется, — и вот улица. Вперед! Женщина в полете!

Письмо первое. Автор — Настасье.

Моя дорогая выдумка. Идет едва ли девятая страница нашей с тобой повести, а я уже вынуждена одергивать тебя. Строго говоря, мне хотелось сделать это еще в самом начале, когда ты призывала на помощь разбитую банку. Так и хочется повторить за твоим мужем: тебе вредно стоять в очередях. Однако что за ерунда? Как можно было прожить жизнь и не привыкнуть к ним? Не делай вид, что ты только что стекла с моего пера: у тебя мой опыт, и не только мой. Очередь — это, если хочешь, второе «я» — многоликое! — каждого нормального человека.

Далее. Ты думаешь, этой бедолаге, что лаяла из-за прилавка, жаль было для тебя лишних «полкила» творога? Могла, кстати, и не придираться к словечку. Еще не раз услышишь «покласть» и «ложить», так что привыкай. Но очередь-то большая, а творога привезли только две фляги. Вот она и распределяла так, чтобы всем вам хватило, в том числе ее подругам, блатным и ей самой. Ясно? Надо же все-таки соображать, Настасья. Я не только о твороге, сама понимаешь. Тебе уже не двадцать и, увы, даже не...

Извини за столь долгую нотацию. Зато я разнообразила твой путь. Знаю, что и на работе у тебя не сахар, но все-таки... выбирай выражения. Иначе я окажусь в неловком положении. Пойми, и так уже многие решили, наверное, что ты — это я. Пусть их, только ведь в таком случае я могла бы честно назвать тебя своим именем. Однако ты — Настасья. И отлично знаешь, почему так названа! Уж постарайся соответствовать, моя радость. Будь здорова, удачи тебе. До свя-

зи! Впрочем, от души надеюсь, что больше мне не придется мешаться в твои дела. Целую!

Как ни спешила Настасья, ее опередил-таки всадник: сам белый, конь под ним белый, сбруя на коне белая. Он мчался, обгоняя людей и машины, вперед и вперед, за темные леса, за высокие горы. На дворе стало рассветать.

Поползуха-поземка принесла Настасью к самому входу в радиокомитет и заполила дальше. Дверь настыла за ночь и имела такой вид, словно в жизни никогда не открывалась.

Настасья держалась за ручку и стояла, покусывая губы. Когда-то эта дверь служила в Комитете Охраны, по возрасту вышла в отставку с почетом — и облегчением — была перевешена на другое место, потому что не служить народу не могла, да и без казенной смазки существовать было затруднительно. Она мечтала висеть в гостинице, место же в радиокомитете было потише и полегче, однако ретивости в двери не убавилось, скорее наоборот. Приходилось долго стоять с удостоверением на изготовку, пока дверь не благоволила заметить и пропустить.

Ну вот, наконец-то она отмерила щель — едва пройдешь! Просочившись в коридор, Настасья стряхнула на вредную дверь снег с шубки и, мстительно поджав губы, пошла к себе.

Коридор был пустоват. Еще в начале зимы заблудилась в Городе лиходейка Знобея * и, по сю пору не найдя выхода из лабиринта улиц, хватала то одного, то другого горожанина себе в добычу. Настасью пока бог миловал — может, потому, что бегала быстро, может, потому, что сама с радостью кинулась бы в объятия лихоманки, а та была девка с придурью, не шибко жаловала, что само в руки шло.

* Знобея — одна из двенадцати сестер-лихоманок, болезней, дочерей проклятых Продовых.

Да, так вот, коридор был пустоват. Продавленное старое кресло вчера не вышло на работу, и там, где оно лет этак двадцать с утра и до вечера покуривало в виду туалета, темнел сроду не мытый линолеум. Поубавилось и стульев.

Однако рассохшийся стеллаж и модерновый журнальный столик в литературной редакции были уже на своих местах. И на хромой вешалке в углу висел только Настасьин личный хомут. Настасья быстро поздоровалась, повесила шубку и пахлобучила хомут, поддернув ворот свитера, чтоб не так терло шею. Звякнул колокольчик, оповещая, что еще одна рабочая лошадь начала день, и, словно только того и ждали, на пороге возникли посетители.

Плохо, когда день начинается с Евгения и Глеба! Такой день можно сразу скомкать и сунуть псу под хвост.

Евгений и Глеб, соавторы,— друг друга не переносили, но у них был один жалкий на двоих, а потому им приходилось всегда ходить вместе, причем не было никакой возможности определить, кто из них заговорит первым. Представлялись они баснотворцами, баснославцами, а лучше — баснонаждцами.

Едва увидев их, Настасья вскочила и грудью заслонила окошечко, куда передавали готовые тексты для радиопередач.

Старый стеллаж и журнальный столик глядели на Настасью осуждающе. Евгений и Глеб были популярны в Городе. На телевидении они участвовали во всех передачах, выступали за мир и против СПИДа. Они были почетными воспитанниками колонии для несовершеннолетних преступников. Вот только одна редакторша из радиокомитета ни почем не желала признавать в них гениев.

— Слушайте, Настасья, до каких пор вы будете сдерживать наш творческий рост? — без предисловий (они уже были, и не раз!) начали соавторы, причем Глеб зажурился, чтобы скрыть огонь ненависти, а Евгений, на-

против, силился глядеть любезно, отчего его нос слегка подергивался.

Дело шло о новой подборке басен, которую они недавно предложили для обнародования по радио. Эзопов язык этих басен заключался в том, что своих недругов Евгений и Глеб изображали в виде невероятных чудищ. Их постигали страшные кары от рук благородных героев, которые по описанию очень напоминали самих авторов. Именно в изобретении этих наказаний Евгений и Глеб достигли особого совершенства. Поклонники их творчества распространяли басни в списках.

Но прямой вопрос Глеба и Евгения требовал прямого ответа. И Настасья, подумав про себя, что надо «выбирать выражения», сказала:

— Я буду сдерживать [illegible] творческий рост до тех пор, пока вы не перестанете употреблять такие выражения, как «губы рта [illegible] профиль мертвого человека», «сунул руку в карман и позвонил по телефону», «рука не поднялась сказать» и многое тому подобное. А кстати, что это за космолавт у вас в басне «Наперекор попутному ветру», которого тошнит при переходе в гиперпространство, и поэтому он, извините, берет с собой запасные перчатки вместо гигиенического пакета? Словом, я вернула вашу рукопись по почте. Думаю, что на днях получите. Я считаю, что ваши произведения оскорбляют душу и корежат вкус.

Наступило молчание. Похоже, соавторы так и рвали язык друг у друга.

— Ну что ж-ж-ж! — угрожающе прожужжал наконец язык, который, кажется, сначала достался Глебу, а потом, попав к Евгению, прорычал:

— Что-то вы размахались шашкой, Настасья. Или прав был поэт, сказав:

Как истосковалась по пиратству
Женщина в сегодняшнем быту!

Я на вашем месте был бы не так строптив. Надо лелеять местную литературную ниву! Ведь Пушкина сре-

ди нас, как известно, нет, да и что бы мы с ним делали? К тому же соловьи должны не только петь, но и клевать.

— Это вы — соловьи? — подозрительно спросила Настасья.

— Да, а что?

— Ничего. Просто знай я об этом раньше, не стала бы читать вашу подборку, а сразу отдала бы ее в редакцию передачи «Живой уголок».

«Соловей» Глеб забил в пол копытом, а Евгений лязгнул зубами.

— Ну, глядите, Настасья! — прорезели басноставцы. — До тех пор, пока вы остаетесь значительным лицом в этой редакции, наших ног здесь не будет! А сейчас мы идем к Главному. И еще посмотрим!..

— «Он сказал только одно слово: «Поздно спохватились!» — не совсем кстати процитировала Настасья еще одну басню и наконец-то перестала загораживать окно приема текстов, потому что соавторы уже рысили по коридору.

Обрывок бечевки, тихо свернувшийся в мусорной корзинке, прополз сквозь прутья и, виясь, выскользнул в коридор. И Настасья поняла, что о скандале скоро будет известно всем.

Живет Охотник с молодой женой день, да месяц, да год — не нарадуется. Ласками ее жаркими не наласкается, в очи ясные не насмотрится, ликом светлым не налюбуется. Попривык Охотник, что жена его без лебяжьих одежд — баба, как и все. Разве что брови у нее соболиные, да очи сияют диковинно, да коса русая на землю течет... А мужу непокорища не оказывает, поперек ему слова не вымолвит. Без него не выйдет из терема, чтоб и ветры буйные на нее не веяли, красное солнце не палило лучом. Под окошком ткет, прядет, вышивает убрусы золотом, крупным жемчугом унизывает, самоцветными камнями усаживает.

Но стоит женке Охотниковой вновь надеть одежды белокрылые — всякое чудо подвластно ей, да и красы словно бы втрое прибавится.

Нет-нет и взмолится Лебедь Белая:

— Друг сердечный, господин ты мой ласковый! Дай надеть платье девичье. Дозволь почудесить, позабавиться. Отпусти с богами на беседушку!

Принахмурится Охотник, призадумается. А она-то, Лебедь, так и вьется кругом, так и ластится. Понатешит он сердце молодецкое, намилуется с ней, нацелуется, да и отдаст лебяжье-белое платьице.

Ахнет-вскрикнет жена-раскрасавица, к зеркалам в светлицу она кинется, да не [illegible] она ни белильницы, ни румянницы и ни сурепницы — надевает платье легкокрылое, потешать начинает [illegible] душеньку.

Пышный хлеб испечь, терем [illegible]ить — для нее теперь сущая безделица, лишь [illegible] махнет изузоренным, молвив слово при том [illegible]

— Эй, мои верные слуги, любезные други! Послужите вы мне, как служили моей родне!

И спешат к ней сей же час по небу пчелы работящие, муравьи ползучие, птицы залетные — топ да шлеп — вот и готово, что Охотниковой женке надобно.

А то подойдет к очагу погасшему, пепел погладит ласково:

— Зинчь *, огонь разожги, яви милость свою!

Вмиг воспрянет пламя умершее, божеством Лебеди подаренное.

Раным-рано, когда отсвет утренний лишь коснется земли, сном опутанной, позовет с крыльца Лебедь Белая:

— О Зимцерла **, покажи лик свой розовый!

И заря на тот зов из-за морей спешит.

А когда гроза собирается, перекликнется Лебедь с

---

* Зинчь — славянский бог огня.

** Зимцерла — заря, богиня утреннего света.

Догодою, усмирит, уймет она Повиста, низко склонится пред Ярилушкой, в дом Услада пригласит она щедрого, в почивальне Лельо помолится, что над страстью любовной властвует, ну а Дида *, его брата хладнокровного, умолит идти другой дорогою...

А коль расшалится Лебедушка, в хоровод позовет она Кичебу. Модерако в тот круг становится со своими вещуньями-дочками, Кудо-Шоче-Наба вместе с Кабою, Калдыну-Мамас детородная. Шукши, хитрые, быстроногие, Диве ** дары принеся, на дворе на широком кружатся, забавляют жену Охотника.

А он тем временем спустит с цепи верных выжлецов, удалых стрелков укрост за заборами, и чтоб у каждого лук настороженный, чтоб у каждого — кречет обученный. Только вздумай взлететь, Лебедь Белая!..

А она не летит, не скрывается, лишь забавами вещими тешится. Наглядится Охотник, надивуется — да и спрячет одежды перначые, вновь посадит свою Лебедушку за пяльцы, за кросны, за прялочку — знай, жена, твое место здесь! А оперенья спрятать позабыл...

И вот примечать стал за Лебедью: то не пьет она, то не ест, то не спит, непонятную думу все думает.

— Что, голубушка, ты кручинишься? Иль тебе, моя сласть, неможется? Иль желанье томит неисполненное? Прикажи, для тебя все сделаю! — скажет он таковы слова, ну а сам про себя подумает: «Лишь кольца с хрусталем не проси, моя лапушка. Ну на что мне Любовь твоя, женушка, коль и так со мной рядом ты?»

* Догода — у славян покровитель тихого, приятного ветра и ясной погоды; Повист — бог бурных ветров и всякого ненастья; Ярило — символ солнца; Услад — божество пирований и всяческих роскошеств; Лельо — олицетворение любви, страсти, его брат Дид — отвращения.

** Кичеба, Модерако и три ее дочери, Кудо-Шоче-Наба, Каба, Калдыну-Мамас — черемисские, лопарские, вотятские богини, покровительницы женских дел и забот; шукши — черемисские божества, которые, неотступно пребывая между людьми, примечают все их пороки и добродетели. Дива — славянская богиня, великая Матерь Природы.

Усмехнется Лебедь безрадостно:

— Ништо!! Чего мне желать, мил-сердечный друг? Ничем ведь я не обижена. Так, головушка болит, ретивое щемит. Да вот птица-говорунья снится мне, еще снится певучее дерево... А где это взять, мне неведомо...

— А коль неведомо — зачем хотеть? — отвечал Охотник Белой Лебеди, но раз, среди пированья застольного, поспрошал стародавних друзей своих: велика ли цена бабьей прйчуди?

Отвечали дружки многомудрые:

— Коль не хочет баба незбычного, коль не жаждет она невозможного, то она не живая, а мертвая! Пусть ей снится да пусть мерещится. Лишь бы в доме разладу не было, лишь бы мужу она не перечила, лишь бы воле его не противилась.

Как давай ветрояшный Охотник наш разливаться речами неумными, похваляться женою-красавицей, до небес возносить молодушку: и умна-то она разумница, и станом-то Лебедушка статная, а уж лицо ее — будто белый снег...

Захотелось тут врагочестивым молодцам поглядеть на чудо великое, и, прямехонько с пиру раздольного, кто со пьяну, а кто с похмелочки, повзбирались они на коней борзых, заломили шапки, гикнули, полетели-понеслись не в чисто полюшко — наметом в гости к Охотнику.

На подворье темно — в окнах свету нет...

— Эй, — кричит хозяин-нахвальщина, — эй, — вопит, — ты где, моя красавушка? Сей же миг сойди к нам из терема, поднеси гостям зелена вина!

Осветились палаты высокие. Заиграло в печах пламя жаркое. На столы легли скатерти браные. В кубках вспенились вина заморские, не счесть на столах яств дикокопытных.

А хозяйки все нет, нет, нет, нет ее...

Пьют-едят незваные раздорники, над хозяином изгаляются:

— Вот так женка! Не видела плеточки! Да осмелься на то моя жена, я б ее нау-чи-и-ил мужа слушаться-а!..

Услышав слово недоброе, схватил хмельной Охотник плеточку — да наверх, в светлицу Белой Лебеди. Там стоит она, жена вещая, на него глядит неприветливо:

— Уж не вздумал ли ты, мил-друг, жену учить? Ах ты, теребень кабацкая! — разгневалась, ослепилась Лебедь Белая. В молодом уме осторожности не было. — Ах, бесчинник, охальник, блудодей! Покажу тебе, как *мужей* учить надобно!

И не успел Охотник опомниться, сгинул терем его высоконький, растаяли палаты просторные, полы разошлись тесовые да исчезли столы дубовые, ну а гости все похмельные очутились на [illegible] в мочажине! Чарки тиной зеленой подернуты. [illegible] пьяна-трава колышется. Болотяник из топи тара[illegible], над беднягами насмехается да Болотяницу к[illegible] [illegible]бавиться.

Кой-как из трясин[illegible] [illegible]ся, кой-как назад ворочалися, но поползло с [illegible] [illegible]важдение, ядовитое, как змея-болотяница: Охотни[illegible] женка — чародейка, волхва, зелейница *, еретица, лихая кощунница!

А между тем проскакал мимо окон второй всадник: сам красный, одет в красное и на красном коне. Разгорался день, разгоралась работа, а где-то там, в Кабинете Главного, уже, чуяла Настасья, разгорался скандал.

Болтун-телефон забыл о приличиях, машинка дымилась на журнальном столике, стеллаж ретиво поскрипывал, то и дело роняя магнитофонные кассеты — стар стал, бедолага! — а Настасья тасовала заявки на передачи следующего месяца, торопясь составить план-график. Наконец план сошелся, как пасьянс, и Настасья понесла его своднице Наденьке, в обязанности которой входило переписать красивым почерком планы всех

* Важдение — клевета, наговор. Волхва, зелейница — волшебница, колдующая с помощью трав.

редакций на один общий, затейливо расчерченный лист, а потом передать Главному.

Наденька сладко зевала в своем кабинетике. Дверь отворилась. Наденька подавилась зевком, а на ее крупный, почти римский нос всполошенно взлетели очки деловой заинтересованности, но тут же и свалились, едва заметили, что это всего-навсего Настасья, и снова придремнули на девственном столе.

Наденька сразу начала жаловаться на придирки Главного:

— С этими графиками сделал из меня какую-то пугалу. Когда, говорит, вы входите в редакции, в них все должны вздрагивать!

— Зачем? — испугалась Настасья.

— Ощущая обострение ответственности, — ответила Наденька голосом Главного (она была до крайности артистична), и дамочки зашлись, трясая стены и заставляя звенеть незамазанные [illegible] стекла.

Потом Наденька приняла вид глубокой сочувственности и спросила:

— У тебя опять неприятности с нашими классиками?

— Да, — кивнула Настасья, дивясь, как стремительно веревочка-сплетница проползла по радиокомитету. — Отправились жаловаться Главному. Начнут плакаться или пригрозят инстанциями, а ты же знаешь, что для нашего это все, сразу скисает.

— Да, он, конечно, слабоват в коленках. Лев, но... не орел, — вынесла Наденька приговор Главному, и опять задребезжали стекла, а со стены сорвался старый календарь за 199... какой-то год.

Наконец Настасья ушла. Идти ей пришлось как раз мимо кабинета Главного, и тут сквозняком приотворило дверь, и она мельком увидела там Евгения и Глеба. Они дружно плакали, и на пол кабинета уже натекла изрядная лужа.

Настасье почудилось, будто сердце ее кто-то зашемил канцелярской скрепкой, но смотреть дальше было

неловко, да и противно, и она быстро пошла к себе и там приникла к окну, так же, с защемленным сердцем, торопя черного всадника. Но до вечера было еще ох как далеко!

Стекло охладило ей усталый лоб, и Настасья вдруг увидела, что над улицей, под сплетением троллейбусных проводов, летит большая белая птица. Она пыталась вырваться из электросетей к небу, но провода сплетались все теснее и теснее, сбивали размах крыл, заставляя лебедя гнуть гордую шею. И несмотря на то, что был он скован, в размахе его крыл Настасье почудилась музыка — песня, призывный клик.

Настасья схватилась за горло, едва не задохнувшись, так вдруг заколотилось сердце, а когда мрак ушел из глаз, лебедя за окном уже не было. Впрочем, не было и сплетения проводов: по этой улице ведь никогда не ходили ни троллейбусы, ни трамваи.

Тем временем сводница графиков Наденька, запершись, чтобы никто не ворвался, вынула из сумки пухлую косметичку, пристроила на столе зеркальце, сняла с плеч голову, лосьоном стерла с лица выражение иронической удали, помадой нарисовала приветливую улыбку, глазам установила выражение готовности и всепонимания, волосы скромно пригладила — и надела голову на прежнее место. Попыталась натянуть тугое-претугое платье ниже колен — бесполезно; и вышла, не забыв очки.

Вскоре после этого во всех редакциях раздался визг, над всеми телефонами сами собой взлетели трубки, и тоненький голосок Главного приказал Настасье немедленно явиться. Трубки упали на аппараты, а Настасья, поджав губы, отправилась на вызов.

В коридоре она кивнула многоглазому дивану, который с топотом и смехом вывалился из редакции «Последних новостей» да тут и плюхнулся перекурить. Диван ответил Настасье залпом парфюмерии, хором приветствий и частым чирканьем спичек.

Окутанное дымом сиденье горячо похвалило Настасьины новые сапоги, и диван во все глаза уставился ей на ноги. Настасья торопливо рассказала, где и когда такие сапоги продавались, какова была очередь, сколько, у кого и до какого срока она заняла денег, и пошла дальше.

Уже открывая дверь кабинета Главного, она случайно опустила взгляд и увидела, что ее новые серые замшевые сапоги покрылись множеством дырочек, прожженных завистью.

Поуспокоившийся было маховик враз набрал предельное число оборотов.

Главный, недокормленный пожилой петушок с тщательно подстриженным гребешком, Настасью встретил невозмутимо, как и подобало царю зверей, имя которого он носил. Перед ним стояла Наденька и держала стопку приказов Сверху, а Главный по одному, аккуратно, складывал их в верхний ящик своего письменного стола. Все знали: что попадает в этот ящик, исчезает бесследно. Напрасно было и разыскивать потом документы, пусть и жизненно важные. Главный поджимал узкий клювик и кукарекал:

— У себя поищите! У меня никакого беспорядка быть не может!

И стоило взглянуть на его безукоризненно чистую столешницу, очередную передачу на пюпитре — тексты Главный читал беспрерывно и неустанно, — стоило увидеть острый, словно жало, карандашик, который вылавливал в текстах опечатки и пропущенные запятые, — становилось стыдно за свой неуместный вопрос. Так-то оно так, но приказы и документы в верхнем ящике продолжали исчезать. Наконец общее мнение сотрудников сошлось на том, что этот петушок был внедрен на должность Главного какой-то инопланетной, а скорее — иногалактической разведкой, изучающей бюрократический механизм планеты Земля. Таких агентов, видимо, было множество в разных офисах, но разведданными этого бы-

ли приказы по радиокомитету и прочая документация, канал связи — в верхнем ящике. Может быть, именно там начиналась какая-нибудь черная дыра, выход в гиперпространство или что-нибудь в этом роде.

Настасья, однако, полагала, что Главный вовсе не заслан, а завербован тут же, на Земле, очень уж самодоволен, мстителен, злобен и одновременно трудолюбив был он, а это — чисто земной вариант.

Итак, ворвавшись в кабинет, Настасья сразу увидела, что здесь приготовились к расправе. Из кладовых были принесены и установлены по углам колья с насаженными на них головами строптивых сотрудников. Все головы уже давно подавленно помалкивали, и только одна, срубленная, как знала Настасья, лишь неделю назад, еще плакала тихонько и между всхлипываниями грозилась, что будет жаловаться. Возле самого стола находился еще один кол — пустой, и, хотя Настасья была уверена, что пока еще Главный не осмелится насадить туда ее голову, она все же зажмурилась от внезапно подступившего страха, но тут же самолюбие взыграло, резьба сорвалась, и маховик пошел вразнос.

— Настасья! До каких пор вы будете наступать на горло нашим соловьям! Разрушаете стройное здание местной литературы.

— Нельзя разрушить то, чего нет! Они графоманы, а вы графоманов лелеете!

— Вы разогнали всех местных авторов, Настасья! У меня лежит коллективная жалоба на вас, подписанная ведущими баснописцами, стихотворцами, сказкосладцами, романосоздателями и поэмоваятелями нашего Города!

— Не жалоба, а донос! Эти ваши «пимовалятели» сделали из Литературы поилку и кормушку, превратили ее в какое-то блудилище, а вам лестно слыть меценатом, потому что вы ничего, кроме их барахла, не читаете и не слушаете, вы уже забыли, что такое воистину Литература!

— А... так, значит, мне правильно доложили, что вы распространяете обо мне порочащие слухи: что я лев, но не орел!

— А что, разве вы орел? Но я, кстати, этого не говорила, вот и Наденька может подтвердить!

— Что?! Не ты?! Настасья! Посмотри мне в глаза! Как ты можешь так лгать!

— Наденька, что ты городишь?

— Что?! Я не позволю себя оскорблять! Ты это говорила, Настасья, я свидетельствую!

— Господи, Наденька, ты ты и...

Бац! Наденькина лилейная ладонь оставила на Настасьиной щеке алый пятипалый след. Лев выпорхнул из-за стола и выкатил из угла тачку, на которой была укреплена соломенная клетка. Наденька с неженской силой подхватила Настасью и вытолкнула в клетку, Главный чиркнул спичкой, и солома вспыхнула.

Главный, Наденька и присоединившийся к ним Председатель комитета по проверке соответствия требованиям Главного впряглись в тачку и несколько раз рысью пронеслись по всем студиям, кабинетам и коридорам, причем Наденька трагически вздымала грудь, не утирая мутно-зеленых, крупных, словно бы у крокодила, слез. Председатель, тощий, лет под пятьдесят юноша, застенчиво пожимал плечами, делая вид, что он тут — сторона, а Главный пронзительно кукарекал:

— За создание конфликтных ситуаций, повлекших за собой нарушения дисциплины, Настасье объявляется выговор со снижением квартальной премии на 60 процентов! Она приговаривается к изгнанию из литературной редакции и ссылке на подхват. При повторении подобных проступков Настасья будет обезглавлена!

Солома трещала, сея искры, но Настасья не пыталась вырваться из клетки, а изо всех сил старалась удержаться прямо, так закидывая голову, что у нее заныла шея.

Наконец пламя скандала угасло, Главный с Наденькой удалились, свалив обожженную Настасью в редакцию «Пойди туда — не знаю куда».

Еще стародавние всеведы сказывали: не просидеть, обнявшись, до смерти! Рано ль, поздно — истечет любовь, с волнами печалей смешается, вольется она в реку горестей.

Стали портить вседеи завистливые Охотника с молодой женой. Не спалось, не елось злоязычникам, все мечталось извести удачу добра молодца и красавицу Лебедь Белую. Раздорники те окрестные свой сор под порог им сыпали, ветротление с цветами подбрасывали. И сама Несудьба подсобила им, когда Лебедь гневом окуталась, в болото мужа пьяного отправила. Пал туман на сердце Охотника, полонила его обида лютая...

На другой же день встал он ранехонько, умывался поутру белехонько, коня борзого заседлывал, в стремя ногу клал — только его и видели. А жене своей он заповедовал не покидать высокого терема, не ходить ни к кому на беседушку, ни с дурным, ни с добрым не ватажиться, ничьих речей не слушаться — ожидать его в засаженье.

Долго ль ехал Охотник, коротко ль ехал он дорогой с путною, но приехал на гору высокую посреди бучила топкого. На горе стоит сосна виловатая.

Подъехал Охотник, спешился, навострил копье борзометкое да и стал дожидаться ноченьки. Не простая была эта горушка — токовище всяческой нечисти!

Только полночь на землю спустилась — на горе засвистело, заухало... Заскрипела сосна виловатая, собрались вседеи бесоугодные, кровожорные слетелись навет-ники насмехаться над Охотником начали:

— Где тебе с шутовкою* справиться! Где тебе обойти лисьи хитрости! Женка твоя нравом гневливая! За-

* Шутовка — вообще нечисть, здесь: ведьма.

зорливая, да уж больно спесивая. Не желает признавать власти мужниной, вьет из тебя, из дурня, веревочку!

Слушал, слушал Охотник нечистиков, разгорелось в груди сердце ретивое, пустил он копье свое верное — сбил с дерева птицу-скопу. У скопы когти ядовитые, коли тронет кого, не избавиться уж от смерти ему.

— Говори, — велел Охотник, — птица злобная, как укоротить прав Белой Лебеди? Иль мой меч не минует твоей головушки!

— Чтобы женка твоя не спесивилась, надо брать ее не силой, но хитр[illegible] она тебя молодцом — полюби[illegible]. Отпусти меня, Охотник — меткий [illegible] я тебе службу верную, дам ко[illegible]

Отпустил он скопу [illegible] коготь взял ее зачарованный — обер[illegible] самобоем-кнутом. А скопа науськивает с дерева:

— Тем кнутом бабуны* сотворишь над Белой Лебедью!

Тут пускал Охотник вскачь коня быстрого, ехал долго, а может, коротко, к полудню домой возвратился он.

Лишь ступил Охотник на широкий двор, спорхнула к нему Лебедь Белая:

— Отпусти меня на все четыре стороны! Полечу я на все ветры полуденные, устремлюсь на все вьюги зимние, кинусь я на все дожди осенние. Разные у нас с тобой пути-дороженьки: лебедю — летать в поднебесье... Благослови и прости, мой любезный друг.

Ох, взыграло ретивое у Охотника! Но ни слова не ответил он Лебеди... а она лицом потемнела вдруг, словно сердце о несчастье провещилось.

Выхватил Охотник кнут-самобой, хлестнул жену по белым плечам:

— Была ты Лебедью-птицею, стань теперь кобылицею!

---

* Бабуны — чары, колдовство.

Только вымолвил слово злокозненное; глядь — перед ним стоит лошадь — белая, без единой темной волосиночки. Покосилась она глазом огненным, прочь от него было бросилась, да скакать со двора ей некуда: крепко заперты ворота тесовые. Жалко ржет она, мечет ископыть, а Охотник молвит слово крепкое:

— Ты умей, жена, мужа слушаться!

Хлестнул ее второй раз — вообразилась она вновь женой Охотниковой. Брал он ее перышки белые, вырывал из лебединых крыл:

— Ты чудесы свои позабудь навек! Нам они тут вовсе не надобны. Бабья справа — кичка рогатая, да понева, да рубаха вышитая. Пусть летают птицы в поднебесье — ты навек к земле будь прикована.

Отнимал он у жены платье лебединое, сжигал его в жарком огне, в глубоком тонил колодезе. Ну а кнут обернулся скопою-птицею, сел на плечо Охотнику.

Письмо второе. Автор — Настасье.

Настасья, ты извини, что я опять вмешиваюсь в твои дела, но ведь нельзя же так!!! Пойми наконец: ты и все эти соавторы, Наденька и проч. — вы существуете как бы в разных мирах. У каждого мира — свои безусловные ценности, свои понятия об Истине. Понять и принять тебе — их, им — тебя невозможно, немыслимо. Но надо же как-то существовать. И сосуществовать. Я понимаю, тяжело, иногда невыносимо — убедиться, что людей отделяет от тебя плотное поле их личных, а значит — бесспорных для каждого мнений, привычек, убеждений, но это так... Да знала бы ты, сколько раз я сама в кровь разбивалась об эти «колпаки»! Их не растаешь, как ночь, теплом своего тела. Их может расплавить только дружба: Нежность. Любовь! Но боже мой, почему же, едва сойдет первый приступ эйфории чувств, снова мы стараемся залечить; зашпатлевать, завулканизировать трещины, вновь восстановить нашу неза-

висимость? Точнее, замкнутость. Одно время, знаешь, мне здорово помогал такой способ: когда на меня лаяла продавщица, позорила в автобусе тетка, которую я нечаянно толкнула, унижали на работе, упиваясь моей вынужденной сдержанностью, — я стискивала зубы, смотрела и думала: «Прости, прости их. Не сердись. Они бедные, их надо жалеть, им плохо — и потому они хотят, чтобы было плохо всем. Страдание ведь разменная монета».

Конечно, долго на такой [illegible] приимости не просуществуешь. Главное, чтобы душа светилась. Это помогает жалеть и прощать померкших. Этот свет дает Любовь. Поняла?

Ну, заболталась я. Давай, [illegible] вставай, вставай!

Полежав безжизненно какое-то время, Настасья привстала, отряхнулась, приняла было привычный заносчивый вид, но не сдержала-таки болезненного стона:

— Ох!

— Чего изволите? — отозвался тот, словно только и ждал.

— Ох, да помоги же мне!

— Да что я? Судьба, знать, твоя такая.

— Ну, покличь мне Судьбу.

Благо редакция была пуста — Судьба тут же и явилась, но не одна, а с какой-то седой старухой с мутным взором. Обе держали в руках веретена-самопрялки, но если с веретена Судьбы ровно стекала прочная золотистая нить, то у другой пряхи нить получилась то слишком толстая, остистая, то хиленькая, неровная — вот-вот оборвется!

— Судьба-матушка! — взмолилась Настасья. — Помоги! Стою день-деньской на ветру Тоски, а он в лицо бьет, до крови сечет!

— А ты поплачь, голубонька, — сердобольно посове-

товала Судьба, не прекращая прясть. — Плачучи и кровь смоешь, и печали утолишь.

— Не могу! — воскликнула Настасья, стуча себя перстами в грудь. — Не то заледенели глаза, не то смертная печаль сковала их. Чем растопить те льды, если и губы мои остыли на времени и ветру?

— Тонка нитка, тонка... — ни с того ни с сего пробурчала мутноглазая, и Судьба, кивнув на нее, пояснила:

— Сеструха моя, Несудьба. Ниточка твоя сейчас на ее веретенушке. Тонко, вишь, прядет, с того у тебя все не в лад да не в склад. Ежели не порвется нитка, пока не попадет на мое веретено, так и, дай бог, все хорошо станет. Ты уж скрепись, взбодрись, девонька, — увещевала добросердечная наречница, с тревогой косясь на худобу, сочащуюся с веретенца сестры.

— Сколь утка ни бодрись, а лебедем не быть, — поджала губы Несудьба. — Еще терпеть твоей душе мытарства лжи, клеветы, лихвы, гнева и ярости, немилосердия и жестокосердия... — прорицала она, так натягивая при каждом слове нитку, что лишь полупрозрачное волоконце соединяло ее теперь с куделью.

Настасья враз ослабела, сползла по стенке, обморочно завела глаза...

— Ну-ка не балуй мне! — сурово прикрикнула Судьба, и Несудьба неохотно ослабила натяжение нитки. — Ништо, голубушка, ты верь мне, еще в твоей судьбе такое содеется, что и во сне не приснится!

— Эй, нахвальщина! — обронила злоязычная Несудьба. — Ты ей еще добра молодца, удалого богатыря посули!

— Да где ж нынче богатыри-то? — развела руками Судьба. — За наши грехи, видно, уж все перевелись. А ты все ж не горюй, не горюй, моя прекрасушка, ужо спроворю я тебе... — Она задумалась было, злорадно глянула на сестру и вновь ласково обернулась к Настасье: — Спроворю я тебе Бела Лебедя из твоей стан!

— Из моей? — поразилась Настасья. — Кто это — Лебедь из моей стаи?

Судьба хотела еще что-то молвить, но тут в дверь ввалился сторож Ох с вытаращенными глазами:

— Идут!..

Рассеялся мгновенный морок, вмиг не стало старух-наречниц, Оха-помощника, а в комнату ворвался новый Настасьин начальник, [illegible] с ноготь, борода с локоть, язык с версту — [illegible] в Городе политический комментатор. Он [illegible] потому ничего вокруг себя толком [illegible] ретать, всецело полагаясь на интуицию, [illegible] тренировал чтением центральной [illegible] помогало ему цепляться за [illegible] рность его Наверху давала ему [illegible] Главного. Впрочем, душа его бы[illegible] узнав, что к нему в подчинение [illegible] решил помочь ей и даже дать пре[illegible]

— Настасья, — [illegible] нетерпеливо переминаясь, — немедленно [illegible] на площадь и сделайте репортаж о завершении [illegible] года — сооружении Трафарета.

— Чего? — не поняла Настасья, которая в своей литературной борьбе несколько оторвалась от общественной жизни Города, а радио она вообще никогда не слушала. — Какого Трафарета?

Борзоходец уже не слышал ее недоумений — он несся на запись в студию.

Настасья пожала плечами. Она ничего толком не поняла, однако идти надо было. Надо, не надо, идти, не идти — ох, лечь бы в угол, свернуться клубком, завыть в стенку... Ох!..

Ох высунулся из-за шкафа, испуганно озираясь, сунул что-то в руку Настасье и исчез, опасаясь быть застигнутым.

Настасья разглядела дар Оха — и невольно усмехнулась: это была трещотка, детская пластмассовая иг-

рушка-вертушка. Настасья сперва тихонько крутанула ее. Сочувственный скрип непонятно почему подействовал на нее успокоительно. Крутанула сильнее — треск заполнил редакцию. Настасья улыбнулась и ожесточенно начала вращать игрушку. Словно бы грандиозная перестрелка затеялась! Настасья знала, что треск этот нарушил сладкую дремоту Наденьки, сквозь тонкие стены достиг кабинета Главного и спугнул переправку очередного приказа через черную дыру, прекратил даже бой сплетниц в коридоре.

Настасья оделась. Она вышла в коридор с гордо вскинутой головой, непрерывно вертя трещотку.

Говорят знатцы, что есть у камчадалов такой божок — Камуда, который в [illegible]ский пол вселяется, самозабвенно плясать вынуждает. Не иначе этот Камуда обуял Настасью при звуках трещотки! Избочась, мелко передергивая плечами, [illegible]ливая шапкой так, что десятилетняя пыль вздымалась с люстр, пронеслась Настасья по коридору, не обращая никакого внимания на строй изумленных взглядов. Наконец она сшибла с ног изумленную дверь и вылетела за порог.

Здесь Настасья спрятала трещотку в сумку, нахлобучила шапку и, несколько успокоясь, прислушалась.

Из далекого далека уже доносился топот коня, на котором скоро въедет в Город всадник темный — вечер. Небо над Обимуром волшебно играло цветами, меняло их от блекло-зеленоватого до сиреневого, сопки за рекой налились густой синевой, а вышину рассек обоюдоострый серп молоденького, еще прозрачного месяца.

Век стоять бы да смотреть, как возносится день над Обимуром, роняя душу на хрустальный лед!.. И впору вновь достать трещотку или воззвать к Оху, потому что смерть не хочется идти к какому-то там Трафарету.

Настасья еле передвигала ноги, радуясь каждой заминке: толчее на улицах, красноглазым светофорам, вывескам, которые отвлекали ее внимание. Из-за угла дохнуло жаркое дыхание универмага, и Настасья охот-

но свернула, очень обрадовавшись, что надо, оказывается, непременно купить кружево на новый воротничок для дочери. А Трафарет никуда ведь не уйдет, верно?

Она бродила по этажам и отделам, купила кружево, приценилась к ненужным ей туфлям, померила платье, хоть оно было слишком дорогим и явно маловатым, и опять, опять обошла все прилавки, вот только здесь, где продавались зеркала, она еще не была, а сколько зеркал, и до чего же все разные — большие и маленькие, овальные и круглые, прямоугольные, в рамках и без рамок, то в тяжелых оковах, то [illegible] каких-то никелированных трубок. А [illegible] красивая оправа: резное темное дерево, слов[illegible]левшее от времени, и само стекло не блес[illegible], а мягко мерцает.

Настасья остан[illegible]ним и вдруг тяжело задумалась, глядя на [illegible]ражение. Какой бледный, утомленный лоб, [illegible] глаза, померкший рот... И все ее годы, все месяцы и даже дни написаны на лице.

Настасья смотрела на себя огорченно, словно на хорошо знакомую внезапно заболевшую женщину, и неслышно увещевала: «Ну что ты, ну что ты так! Ну посмотри, какие у тебя широкие брови, и большие глаза, и длинные ресницы...» Постепенно отражение слегка оживилось: разгладились морщинки у глаз, на губы легла тихая улыбка. Настасья одобрительно кивнула, поправила челку — и увидела, что в зеркале рядом с ней отразился какой-то мужчина.

Был он высок, сероглаз и светловолос, тоже не очень-то весел — с серьезной внимательностью смотрел из зеркала на Настасью. И под этим словно бы знакомым взглядом Настасью вдруг задела крылом мимолетная мысль: обернуться хоть булавкой, хоть в ворот воткнуться этому человеку, только бы с ним...

Настасья, смутившись, еще какое-то время выдерживала его светлый взор, потом, чувствуя жар в лице, опустила глаза — да и ахнула. Казалось, неизвестный обла-

чен в легкое облако! Секунду Настасья смотрела на белый свет, исходящий от его одеяния, потом резко повернулась.

Рядом никого не оказалось! Некому было отражаться вместе с нею!

Вздохнула не то облегченно, не то разочарованно и, решив, что пора все-таки идти, нечаянно заглянула в зеркало вновь.

О-о... Неизвестный никуда не исчез! Он смотрел из темноватой глубины на Настасью, и ту словно ножом резануло по сердцу: ее... ее собственное отражение склонило голову на плечо этого человека, а он обнял стоящую рядом с ним женщину за плечи. Близ него Настасьино отражение налилось красотой, будто яблоко — спелостью.

Рассмеялось сердце от непонятного счастья, но тут же Настасья испуганно схватилась за голову. Голова на месте, на своих плечах, а чужие не склонена...

Настасья невольно оглянулась и тут заметила, что она... то есть та, в зеркале, успела сменить черную шубу и мохнатую шапку на такой же белый, словно бы перинатый наряд, как у Светлого. Они стояли, уж совсем тесно прижавшись друг к другу, все так же серьезно, сосредоточенно глядя из темноты отдаленья на Настасью, но та чувствовала, что они видят вовсе не ее, а только себя, только двоих себя в целом мире.

— Женщина, сколько можно выбирать?! — Продавщица подошла незаметно и с профессиональной неприязнью смотрела на Настасью. — Упаковать? Это, что ли? — Ткнула пальцем в зеркало и тут же издала истерический визг: — Ой, мамочки! Стащили зеркало!

И впрямь. В той деревянной рамке, словно бы потемневшей от времени, оказалось теперь вставленным не чудесное стекло, а холст, на котором в три цвета — белый, серый и голубой — были изображены лебеди, летящие так близко друг к другу, что чудилось, будто у них на двоих всего лишь два крыла.

...И опять день сменяется вечером, ночь зовет за собой утро ясное. И гуляет по небу солнышко, и плетут венки созвездия, месяц светлый в синеве купается, омывается восходами-закатами...

Охотник за женкой приглядывает, шагу в сторону не дает шагнуть. Невеселой живет Лебедь Белая, ни с кем словом она не обмолвится, без привету глядит, без радости, беседует только с тремя сестрами: Зорькой, Вечеркой да Полуночкой:

— Ох, жила я, горя не ведала, летала в чистом поле лебедушкой. Да на что я [illegible] силу вещую? На что променяла вольную [illegible] да широкий размах моих белых крыл?

Молчат Зорька, [illegible] Полуночка — не утешить им жену Охотника. [illegible] его дня суровеет: обнесла пред ним жену [illegible] сердца!

Миновало так [illegible] засвистали над землей дни осенние, понесли [illegible] на крылах, снег понесли белые лебеди. Вот увидела женка Охотникова белокрылые стаи в поднебесье, на крыльцо высокое выбежала, сама горько плачет, приговаривает:

— Ох вы, лебеди мои белые, дайте мне, горемычной, перышко, улечу я в страны далекие!

Отвечает стая с высоты:

— Вслед за нами другие летят — уж дадут тебе белое перышко!

Опять появились быстрокрылые, опять просит жена Охотника:

— Ох вы, лебеди мои белые, дайте мне, горемычной, перышко, улечу я в страны далекие!

Отвечает стая пернатая:

— Вслед летит одинокий лебедин — он и даст тебе белое перышко!

Ждет-пождет молодка, видит — из высоких высот, из далей заоблачных, из межзвездных просторов немеренных выплывает лебедин — светлый, будто луч солнца полуденного.

Замерла она среди двора, хочет позвать его, да речи нет!

Летит он, светлый, не торопится: поведет крылом — версту отмахнет, поведет вторым — другую отмеривает. Смотрит молча на него Лебедь Белая — молча, плачучи, душу надрываючи. Склонил он голову гордую, бросил взгляд на землю из поднебесья — и увидел эти слезы горькие. Падал он тотчас на сыру землю, ронял со свонх крыл белое перышко. Подхватила Лебедь это перышко, посмотрела на гостя, да и ахнула: стоит пред ней стихия-богатырь, бел да светел он, точно ясный день: руки у него по локоть в золоте, по колени ноги в серебре, месяц светит на высоком лбу, солнце — против сердца ретивого.

Замер легкокрылый [illegible], словно сила его сковала невидимая: глаз не мог[illegible] вести от жены Охотника, а на сердце тревога легла.

На беду скопа, [illegible] злокозненная, говорила Охотнику слова бесо[illegible], посылала его во широкий двор:

— Не простой это лебедь, а Звездолов, злой разлучник твой, вселенский лиходей. Ты бери скорей кнут-самобой, чародея ты бей без жалости.

Выбегал Охотник на широкий двор и, не успел нечаянный гость опомниться, хлестнул его по плечам.

Глядь — пред ним стоит расчудесный конь: ярким светом копыта светятся, шерсть серебром переблескивает, за спиной — крылья могучие.

— Зови на помощь острый меч, не то улетит колдун в даль далекую! — верещит злая наветница.

Охватило буеванье Охотника, вонзил он меч коню в шею гордую. Пал крылатый на сыру землю, ясные очи его закрываются, алая кровь его запекается.

— Спать тебе отныне да повеку!

Повелел Охотник убрать коня мертвого, только вилит — на земле окровавленной поднялось чудесное дерево! Ветви у него серебряные, листья золотые сплошь,

звезды на ветках поигрывают; поет дерево песни диковинные, словно перезвон с небес доносится.

— Руби, не то беда придет! — вновь пророчит скопа зловещая.

Залилась слезами Лебедь Белая, но промолвило дерево человечьим голосом:

— Погоди горевать, красавица! Когда станут меня рубить, брось одну щепочку в зеркальный пруд.

Эх, ослепился Охотник яростью, изрубил он дерево в мелкую щепочку! Подхватила одну Лебедь Белая, бросила в зеркальный пруд [illegible] ахнула от внезапной радости: обернулась щепка [illegible] птицей светлою. Только крылышки-то подра[illegible] только кровь по белу перу течет...

Взвилась ввысь скоп[illegible]ожорная — вот-вот на него набросится! А [illegible] ядовитые, а клюв у нее огнем горит...

Закричала тоскливым голосом жена Охотника, пустила она по ветру белое перышко, молвила слово печальное:

— Не летать мне больше в поднебесье! Но за то дай мне, перышко, последнюю силу чародейную!

Закружилось волшебное перышко, словно бы снежинка нетающая, а жена Охотника воротам тесовым приказывала:

— Отомкнитесь, запоры мои крепкие! Отворитесь, ворота широкие!

Поднялось над воротами перышко, полетело оно в темный лес, полетело в выси заоблачные. Зовет Лебедь Белая по лесу:

— Друзья верные, звери порыскучие, собирайтесь на подмогу ко мне!

Бежит зверь лесной — не видать земли.

Кричит Лебедь по поднебесью:

— Собирайтесь, птицы перелетные!

Птица летит из-за облака, укрывает свет полуденный.

И говорит тогда жена Охотнику:

— Отпусти его, коль хочешь живу быть!

А зверье напирает на Охотника, птица смотрит на него с ненавистью — вот-вот глаза ему исклюет...

Опустил Охотник лук со стрелами, неохотно взял он вабило*, примашил скопу огнекловую. Лишь коснулась она плеча Охотника, ухватила ее Лебедь Белая, клюв зажала так, что не пикнути, зверью на съедение бросила, на поругание, на растерзание. Ну а птицы поднебесные подняли лебедина раненого, унесли его на крылах своих к звездам с песней протяжною. Уходил в леса дикий зверь лесной, оставались на дворе лишь Охотник — да его жена-непокорница.

Смотрел на нее Охотник озойливо**, говорил он ей слово черное:

— Ну, гляди-и, [illegible]ка-кощунница... Видно, мало тебя я наказыва[illegible], по кнуту наскучилась ты. Как возьму тебя, жена, за косы, начну волочить тебя по двору, пока ты во всем не покаешься, пока слово дашь не противиться!

Поглядела на него Лебедь Белая, как бы на ворога лютого, и сказала ему твердым голосом:

— Обломал ты мне быстрые крылышки. Можешь сломать и тело белое, только душу мою не сломать тебе! Отдаю ее вековечной тоске, а тебе над ней больше не властвовать!

Ударила себя в грудь Лебедь Белая, положила она печать на сердце, замкнула его крепко-накрепко, душу из плоти вырвала, обернулась душа чистой звездочкой — высоко улетела в поднебесье!

Осерднлся Охотник! Срубил талинку, из комля сделал он стрелочку, он пускал ее ввысь, к той звездочке, но не долетела стрела, куда целил он. Делал стрелу из средней талинки, но и та не достигла звез-

---

* Вабило — охотничья приманка для обучения ловчих птиц.
** Озойливо — пристально.

дочки. Сладил он стрелу из самой вершиночки — и только хотел ее выпустить, как за спиной шипенье послышалось.

Обернулся Охотник — ополохнулся: где была его молодая жена, извивается чудище лютое: лицо и власы у ней женские, от грудей вниз — тело змеиное!

Говорит Василиск* Охотнику:

— Одолела меня злоба лютая. Без души уж не стать мне прежнею. А чем такой мне быть — лучше вовсе не жить!

И увидел ошалелый Охотник, что косы длинные чудища превратились в змей ужаснейших да ужалили Василиска в самое. Упала волхва змеекудрая, умерла от злобы безвременной.

Привязал Охотник В[illegible] к хвостам лошадей, размыкали нечисть по чистому полюшку. Били испуганные кони копытами [illegible] злошипучие. До тех пор ее мыкали, пока не растрепали змей по оврагам да горушкам. Принесли назад жену Охотника. В женском облике, но все ж мертвую...

На предпоследней остановке в автобус заскочила небольшая черная собака. С разлету пронеслась по салону, а между тем двери закрылись, двухвагонный мерзлый «Икарус» поскакал под ледяную гору. Привычные пассажиры схватились за поручни, нас швыряло в стороны, те, что стояли на задней площадке, невольно подскакивали. Собака, растопырив окоченевшие лапы, зажмурилась.

Теперь автобус рысил в гору. Собака оглянулась и вдруг взвыла, сперва тихо, а потом тяжело, тяжело!

Парни рядом захохотали.

Автобус резко повернул. Подавившись воем, собака наткнулась на меня и отшатнулась.

---

* Василиск — женщина-змея.

Моя остановка. Водитель осадил «Икарус». Собака выскочила, но почему-то не убежала, села тут же, у подножки. А когда желтый грохочущий ящик понесся вдаль, она заметалась между сошедшими. Я шагнула в сторону — она кинулась ко мне. Побежала рядом, тихонько скуля. Будто не черная собачонка трусила у ног, а моя тоска. Привязалась она ко мне потому, что мой запах уже показался ей знакомым. Прогнать, пошла! Она воет, я вою. Я, как эта псина, несусь в автобусе чужой жизни, и ехать безумие, и выйти страшно. Жизнь моя подобна вымыслу.

Почему, почему я не сорвала со стены лебединую картину, не бросилась бежать? Едва ее схватила ошарашенная продавщица, это снова оказалось обычное зеркало...

Собака вдруг кинулась под гору, откуда только что примчалась в автобусе. Вспомнила дорогу домой? Пусть бежит. Но она убежала слишком быстро, и тоска моя не поспела за ней...

Это началось, едва я сошла с троллейбуса на площади Успехов. К стройке тянулся тяжелый настил из промороженных бревен, но мои ноги проваливались в них по щиколотку, словно в гнилье, и оставляли вмятины. Ужас, ужас, но недолго. Вскоре бревна непостижимым образом разглаживались, чтобы вновь вдавиться под следующим.

Я и не заметила, как дошла до Трафарета. Там звенел подъемный кран, суетились люди... Как я не знала об этом раньше? Действительно, стройка года. Словно бы полгорода здесь. Прожекторы скрестились в небе, в дымящихся полосах света возносились гигантские буквы из бетонных кубов:

ПОДДЕРЖИВАЕМ И ОДОБРЯЕМ —

а далее тянулась металлическая конструкция, где надлежало укреплять съемные плакаты, поясняющие, что именно мы поддерживаем и одобряем. И уже суетил-

ся какой-то, кому только что свалили с грузовика огромную скрежещущую листовину, дергал всех подряд и отчаянно спрашивал:

— Что писать? Что сегодня писать-то?

Очевидно, тот, кто знал доподлинно, отсутствовал, а пока, на всякий случай, Город поддерживал и одобрял все. О господи! Я подняла лицо к гигантской перекладине. П-п-под-дер-жи...

Зима. Поздний вечер. Иди домой, Настасья. Иди. Уже и так тает снег под твоими шагами, будто они посыпаны солью. Соленый [illegible] твои, и шаги твои солоны.

Скорее, скорее, в [illegible], в свою нору, в свою скорлупу. Веками [illegible] убежище — дом. Забиться в уголок дивана, [illegible] тьмы и тьмы сестер, что вот так же [illegible] из своей души, плели паутину уюта и домашнего счастья. Липкая, прочная паутина! Мы наследуем от праматерей умение вить ее. А если жизнь развеивает это умение? Инстинкт еще пульсирует в кончиках пальцев, которые умеют оживлять кастрюли, плиту, стиральную машинку, иглу и сумки, но душа ссохлась, и ссохлись нити, и холодный мир сквозит сквозь них. И мне холодно, и холодно тем, кто рядом со мной. Почему сгибла во мне живица? Кто виновен? Призраки врагов стоят вокруг, усмехаются, мне не сладить с ними, это Собрания, Зарплата, Сплетни, Бензиновый туман, Неосуществимые желания, Школа, Вранье ежедневных дел, Верх, который не знает обо мне, для которого я — какие-то среднестатистические «они», Судьба и Несудьба с их неразлучностью, Невозможность оспорить приговор, Ярость, Неумение жалеть, Желание жить... И первый враг — Обыденность. Имя им легион, где всех перечислить?

Бежит куда-то ночь, словно лошадь в серебряной сбруе, а наша сбруя — привычка. Кто, кто первый придумал привычку, почему его не побили камнями, ведь

он за слабости людские обрек их Тюрьме обыденности? Пусть бы лучше люди неслись вскачь друг от друга, а-кали и молили, может быть, так вернее находили бы себе подобных, чем, повинуясь привычке, сбиваться в стадо — чужими, ненавидящими, усталыми, долгавши-мися до того, что земля гнет под ногами? О, каждо-дневный наш Трафарет!..

— Мама, а почему ты сидишь в темноте?

— Да так, глаза устали. А ты что делаешь?

— Читаю.

— Почитай мне.

— «Старичок-пестун встает поутру ранехонько, умы-вается белехонько, взял младенца на руки и пошел в чистое поле.

— Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёна мать видели?

— В другой стае.

Летит другая стая.

— Гуси вы мои, гуси серые! Где вы младёна мать видели?

Младёного матерь на землю соскочила, взяла мла-денца на руки, стала грудью кормить, сама плачет-за-ливается:

— Сегодня покормлю и завтра покормлю, а потом улечу за леса, за моря, за широкие поля...»

— Ну, ма-а-ма! Ну что ты плачешь-заливаешься?

Вот мой камень, мой родненький камешек, тот, что ко дну тянет, где желты пески — на грудь, шелкова трава — на ноги... Зачем отняли у нас Бога, который учил принимать с благодарностью всякую нить, кото-рую ссучит Несудьба?

Письмо третье. Автор — Светлому.

Отдавая тебя другой — пусть только облик, пусть не навсегда, я все-таки горюю... Но уже пришла пора спасать Настасью. Ты же знаешь: один извлекает из

страданий жизненные уроки, другому они воспитывают душу. Настасья из вторых, но она не понимает этого, а потому ее страдание непереносимо, смертельно. Сказано ведь: «Та, которая рождена быть музой, но вынуждена быть домашней хозяйкой, всегда живет под искушением самоубийства».

Не упрекай меня в жестокости. Я люблю Настасью как себя, но... не умерши не воскреснешь. Так будет же с нею мое воскресение! Но не забывай обо мне...

Письмо четвертое (последний — автору.

Милая, моя ми[illegible] и кому ты опять одолжила нашу любовь[illegible] ли ты веришь в меня? Но если ты уверена, что Настасью нужно спасать, — что же, пускаюсь в путь.

В мире моем, где [illegible] птиц, ни зверей, ни души человеческой, где [illegible] то реальность, не то дитя твоей влюбленной фантазии, — я готов помочь любому лебедю из нашей стаи.

Думаю о тебе! Отправляюсь из моих созвездий, отдаюсь на волю вселенских волн и на твою волю.

И никто не знает, куда причалит плывущий.

— Открой, Настасья! Отвори!
— Кто там?
— Мы к тебе. Не гони нас.
— Да вы кто?
— Открой — увидишь.

Открываю. На пороге — две женщины. Одна в красном обтягивающем жакетике, в длинной юбке, из-под которой пышатся черные жесткие кружева. Такие же у шеи и кистей. Черные чулки, ботиночки на шнурках. Черная шляпочка. Это зимой! Носик этакий... заносчивый.

Рядом — какая-то вахлачка в невообразимом макияже, чуть ли не с блестками на скулах, вся в мини, од-

нако вид унылый, и ножки перекручены от застенчивости.

— Вы ко мне?

— К тебе.

— Ну, прошу. Чаю? У вас дело? Мы вроде бы незнакомы.

— Что же не спросишь, как зовут?

— Как же зовут вас, гостейки дорогие?

— Я — Любовь, а это — сестра моя, Кручина.

Уж казалось бы, спроста нас, женщин, не возьмешь, но я обморочно шарахаюсь: нет, этого не может быть, вкруг нее должны клубиться вихри, сверкать голубые огни, наверное, пахнуть серой, ведь Любовь — сила космическая, почти дьявольская. Мне ли не знать! Хотя пора и забыть, как она крутит нервы и ломает кости, продолжая при этом ласкать, ласкать. Безумная, слепая, тебя кто сбил в красный бархат и черное кружево? Подходящий костюм для путешественницы во времени, из любопытства приостановившейся в одном из музеев Земли!

— Скажи спасибо, что я не в веселеньком ситчике или вовсе голышом, с нарисованным на попе цветком. Низвели меня не то до пастушки, не то до шлюшки, а потом дивятся красному бархату!

— Подруженька Любовь!

И все, и больше ничего не сказать. Прикрываю глаза, потому что Кручина ни с того ни с сего разливается в таких слезах, что и мои готовы пролиться вслед. Уже встречала я сегодня неразлучниц, Судьбу и Несудьбу. Теперь эти пришли пытать.

А Любовь смотрит в окно, где подслушивает тьма.

— Или ты разошлась с рассветом и закатом, Настасья? Вечный день или вечная ночь — одинаково плохо.

Молчу. Что сказать?

— Бывает зов ниоткуда. На него хочется пойти —

неважно куда и зачем, лишь бы отозваться. Но этой дорожкой ты уже отгуляла.

— Иногда мне кажется, что я отгуляла уже всеми дорожками в мире, — угрюмо отвечаю. Не ради поддержания разговора, нет! Лицо горит, губы сохнут от испуганного ожидания. Она ведь просто так не приходит. Куда еще задумала бросить меня?

Посмеивается:

— Тешить плоть — или душу утешать? Дурочка! Душа твоя спит мертвым сном. А когда ты мечешься — это она мечется во сне. Не тело. Я ее разбужу.

— Опомнись! Я [illegible] ломала ногти на твоих неумолимых плечах. И [illegible] ты уверяешь, что моя душа еще спит. Не [illegible], что ее уж не разбудить?

— Любимый тобою поэт говорит, что дно вымерших водоемов иногда вдруг вспарывают плавники рыб, которые долго искали и нашли наконец свое море. Если даже тени мечутся в поисках призраков, то неужели ты не веришь в неизбежность встречи людей, которые созданы друг для друга? Бог расточителен, конечно, но иногда и он отмеряет точно, капля в каплю.

— Любовь! — горько смеюсь я. — А ты не ошибешься? Я ведь доверчивая. Чуть подтает лед — верю, что весна, а это только оттепель. И — достаюсь в добычу твоей сестрице.

А Кручина между тем чувствует себя как дома. Ейбогу, не вижу, почему бы ей не чувствовать себя так именно в моем доме!

Мы следуем за ней — и вот уже сидим на кухне, доходит до экстаза кофейник, а в руки Кручине спорхнула с антресолей моя старая блажь далеких лет, пыльная гитара с порванной первой струной, которую кто-то из сердобольных гостей заменил леской. И, чуть кося расплывшимся от вечных слез оком, Кручина заводит с убогой лихостью:

Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышки на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад
Злей хвоща и молочая.
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.

Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.

И, переведя дух, Кручина вопрошает сестру:
— Что нахмурой сидишь? Стихи не по нраву?
— Не по нраву.
(Мне тоже.)
— Ну так пой свои!
— Смешно петь мои в таком обличье. Разве вытянешь, когда горло сдавлено кружевом, а на плечи кафельные стены легли? «Зна-ать, сули-ил, сулил мне рок с моги-илой...» — Да, не тянется, рвется голос Любви.
— Сыграем в буриме! — вдруг развеселилась Кручина. — Подбери-ка рифму к имени моей сестрицы! Морковь, свекровь, бровь, изготовь, новь, покров, улов, церковь... Нету рифмы. Одна только есть к слову «любовь» — кровь.
Я говорю недобро, потому что отравила-таки она меня своим бутафорским ядом:
— Уж ладно — сестра твоя, но ты-то чего ряднишься? Ты-то что на чужом языке плачешь?
— А кто из вас сейчас страдает в рубище и вериги, умерщвляя тело для души, привычку — для любви? — вскидывается она. — Плачете, а слезинки мизинчиком с ресниц собираете, чтоб кожа не прокисла? Горе с краской не водится!

Любовь долго молчит, наконец поднимается:

— Ну, надо бежать.

— Погоди, я ей на прощанье еще спою. — Блестят черные нейлоновые коленки Кручины, на которых лежит гитара. И аккомпанемент-то блям-блям, и леска всхлипывает, а сама, зараза, смотрит так, будто признается: я о тебе все знаю, от меня ты не уйдешь.

Завижу ли облако в небе высоком,
Примечу ли дерево в поле широком —
Одно уплывает, одно засыхает...
А ветер гудит и тоску нагоняет.

Что вечного нету, что чистого нету.
Пошел я шататься по белому свету.
Но русскому сердцу везде одиноко...
И поле широко, и небо высоко.

Господи, кто это сегодняшний день сглазил, что он такой горький! А эта... довенчивает уже на ходу:

Когда я не плачу, когда не рыдаю,
Мне кажется — я наяву умираю...

Любовь бросает мне прощальный взгляд — многообещающий взгляд! А Кручина хватает за подбородок — вроде ласково, но ее острый ноготь больно вонзается в кожу:

— Я тебя еще навещу, голубушка! Еще споем!

След ее ногтя не затянется много-много дней.

Письмо пятое. Настасья — автору.

Не пора ли уже успокоиться? Чего ты хочешь? Да, ты рисуешь меня «хомо страдающим». Но я страдаю (по твоей милости) от всего, все беру близко к сердцу, вот оно и расположено рваться. А ты вокруг посмотри! Все эти сотни, тысячи, миллионы... Гуденье станков, рев автобусов, шарканье шагов, сонный предрассвет, плечи кругом, скрип соседей за стенкой, сын ток-

сикоман, газеты пророчат повышение цен... До любви? До бросаний под поезд? С простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику?.. Опомнись, матушка! Некогда жертвы приносить. Опоздаешь на работу, уйдет трамвай, кончится масло... Страсть постепенно становится привилегией тех, кто имеет свободное время для страданий, тебе не кажется? Над нашими с тобой безумствиями смеяться будут. Ну, вольно тебе раздеваться принародно! А я — за что? Какие миражи наградят меня за неспокойный сон, скрученные нервы, кошмары и призраки, за вечную тоску и голод души?

Ответь скорее, прошу тебя.

Письмо шестое Антон — Настасье.

Помнишь начало нашей переписки, когда я учила тебя терпению? Вот и конец настала пора забыть мои уроки. Постараюсь объяснить.

Вина ли человека, который, как известно, живет в обществе, продуктом его является и не может быть от него свободен, что обществу желателен человек, лишенный истинного умения любить? Обществу выгодна укрощенность, сглаженность чувств. Тогда человек больше времени сможет отдавать работе. И на производстве спокоен, и колбасу по талонам принимает с благодарностью, и удало смеется, когда под Новый год милиция окружает веревками и железом очередь за шампанским, и раздаются крики в мегафон: «Выстроиться по одному! За барьер не выходить!»

Не смей, не смей быть спокойной! Покой — не признак совершенства. Возможно, в баснословные времена так оно и было. Но теперь покой, к которому принуждает нас жизнь, — худшее из уродств.

Любовь — не только потребность, инстинкт, зов плоти, пойми! — формирует человеческое достоинство. Любящий, как бы ни был он раздавлен страстью, не позволит топтать себя сплетнице, дураку, доносителю, зло-

дсю. Любовь — пружина, которая раскручивается целую жизнь, не давая поникнуть душе. Взрывная сила, которая на всю жизнь возносит душу в горние выси. Из-за нее и убить себя не страшно. Именно себя, не того, кого любишь, иначе это — жуткий, маразматический эгоизм. А убивший себя из-за любви будет возрожден.

Ответ ли это? Смотри сама, принять его или нет. Но ты уже попала в [illegible] любви. Не сходи с нее! Про эту орбиту [illegible], но еще больше, к несчастью, написано про тех, кто в нее не попадал — и счастлив этим.

А если кому-то [illegible] польза от моих слез, то пусть это [illegible]: высшая нравственность зиждется на любви. «К Родине, друзьям, детям, к природе», — как [illegible] Кодексы. Но поскольку в основе жизни человечества лежат все-таки Любовь и Страсть, то эти слова надо научиться писать с большой буквы — и кровью.

Мне еще хочется крикнуть: «Говорите! Говорите свое непонятное, чтобы забыть, что все на свете реальность, и не изменить!» — но сестер-неразлучниц уже и след простыл. А меня дрожь охватывает, когда за окном вдруг мелькает тень. Это белое облако, конечно же, облако, но почему я затрепетала, едва оно отправилось в полет? Оно исторгает белые молнии, а те вышивают в небе чудесные картины. Рассмотреть бы, да не поспевает взгляд.

Дверь распахнулась, словно от взмаха крыльев. Какой-то лебединый бред. Лебединое имя... Я его не слышу, но томление вздымается по телу к самому сердцу.

Очнулась от боли — оказывается, вонзила ноготь в подбородок. Так это я, а не Кручина? Померещилось? И лебедь-облако?

Кого ты ждешь? За окнами темно.
Любить случайно женщине дано...

Пусть горит свет! Мое окно маяк, пусть прилетит наконец эта белая птица!

И вдруг вижу, что какие-то существа, каких нет ни летом, ни зимой, ни во сне, ни наяву, ни при луне, ни при ясном солнышке, во множестве устремляются к моему окну, затеплившейся душе. Столь многие охочи до нее? Роятся, бьются в стекло.

Нет, страшно. Скорее погасить свет. Снизу в темноте, и одиночество цепляется за меня холодными от испуга пальцами. За окном [illegible] писк, визг, стоны и мольбы, и вспыхивают [illegible] добрые очи, ползут по стеклу зеленовато-желтые [illegible] Теперь я знаю: каждый, кто зажжет свет, [illegible] готов к тучам ядовитой мошкары, которая [illegible] премено окутает его, норовя ужалить, и, [illegible] даже ужалит до смерти.

Кто и зачем по[illegible] в это состояние, когда вырывается из тела [illegible].

О дикая лошадь [illegible] Я вижу тебя. Ты бьешь копытом в землю. В [illegible] сладах сладострастие, тоска, мудрость, темная злоба, скотоподобие, беспамятство, страх... Разве знаешь, [illegible] какого копыта напьешься — чем обернешься!

И вот наконец-то вернулся мой муж, мой верный друг и первый враг, и по его повадке, по этому взгляду, будто из засады, по грязи на губах я вижу ясно, что осушил он копыто, полное злой клеветы, осушил до дна. Жаль моя!.. Только жаль — и ничего... А ведь было время, когда, останься он наг, я сплела бы ему одежду из волос моих. Еще и до сих пор в связанном мною свитере проблескивает мой золотой волос — золото моей верности. Кто из нас помнит, кто забыл?

Да, но кто распалил его ярость? Чьи змееобразные речи, чьи хитроструйные пронырства? Или мои заклятые друзья опоили его клеветой, хитромыслые? Или Наденька такой лисой скинулась, «случайно» встретясь? Или просто ревность-блудница бросилась на шею?

Он тянет из шкафа ружье. Давно не зовет он меня

Белой Лебедью, но ему сейчас и гусыня дичь. Знакомы мне эти холодные залпы.

Я стою, раздета догола, и он рисует на моем белом теле круги-мишени. На горле и на губах, на глазах и руках, внизу живота и самую большую, будто кровавый цветок, — на сердце.

Память уже колет его исподтишка раскаленными железами, и он будет теперь всю ночь стрелять в меня. Сколько попаданий на сколько промахов? Заросли́, заросли́ старые следы в моем сердце, и мне дико, что когда-то кто-то жил в нем, бродил... Убивают меня ни за что.

Да бог ты мой, да стреляй, стреляй! Я и сама могу. Вот твой добрый охотничий нож. Бью себя в шею, грудь, руки. Где спрятать душа? В сердце? Ну что ж, и разорву сердце, ну что ж. На волю, на волю! Гуляй, душа!..

По раздольицу чисту полюшку и по дорогам ухабистым скачет неутомимый конь — ноги легкие, копыта тяжелые. Скачет он с утра и до вечера, от полудня и до полуночи. Рано ль, поздно — у каждого крыльца издаст призывное ржание, всех нас унесет в туманы предрассветные, которые никогда не рассеиваются... Сколь ни жить, а смерти не избыть! Вот только что был человек, жизнью наполненный, и по-прежнему при нем его руки, очи, резвые ноженьки, но ушла из тела душа — из очей белый свет повыкатился, пропала сила чудесная, та, что рукам силушку, ногам стремительность придавала. Вместе со вздохом последним разлучилась с телом душа, погасла жизнь! Заплелись следы зеленой травушкой. Зови не зови — ни перелетным ясным соколом, ни белым голубком, ни сизой кукушечкой не вернется ушедший, не оглянется. Ленивого ты дошлешься, сонливого добудишься, а вот мертвого не докличешься. Бесконные вехи отметят его путь-дороженьку...

Тоска тяжелая давит Охотника. Была у него доля

таланная, была у него жена-молодушка... Прожитое, что пролитое — не вернешь! Да и жизнь самого Охотника по краю идет, сыскала и к нему смерть дороженьку, настал черед исполнять обет.

Внутри после смерти жены Охотниковой начались печальные хлопоты. Посреди поля чистого выкопали могилу глубокую, высокую да широкую, шириной до двадцати сажен. Положили в могилу домовище, а в домовище том спит вечным сном жена Охотника. Головой на запад лежит, к восходу лицом — где-то там, на востоке, ирий-сад! А муж ее велит тяжелым голосом:

— Слуги, вы слуги мои верные! Вы постройте мне колоду белодубовую, чтоб положить хлеба-соли туда, воды, разных яств да фруктов, да поставить еще коня моего доброго, положить [illegible] верное, колчан с меткими стрелами, крутой лук [illegible]ницкий — чтоб вся справа моя смертная вместе с [illegible] пошла — может, в ирий-сад, может, к Ниянту [illegible]скорному.

Надевал Охотник платье красное, входил в жилище смертное со смертной, северной стороны. О последней просил он милости:

— Вы оставьте мне, люди добрые, хоть одно малое окошушко, чтоб я мог смотреть на белый свет, на ноченьку смотреть мог темную.

Заворочали могилу потолками дубовыми, песками засыпали желтыми, оставили одно окошечко. На кургане посадили березку плакучую, бдын** деревянный поставили. И спешили закончить страву погребальную до заката солнечного, чтобы солнышку отходящему довести до обители умерших...

Все ушли наконец, ночь настала глубокая. Смотрит Охотник из могилы на краюшку неба звездного, ждет своей поры-времени, а то, огня добыв, зажигает свечу

---

* Ирий-сад — рай. Ниян — его славяне признавали царем адским.

** Бдын — языческое надгробное сооружение, обиталище души умершего.

воску ярого, на уснувшую глядит — не налюбуется. Наконец-то вся его она, до последней своей волосиночки! Ничей взор чужой не тронет ее, никому не улыбнутся уста ее сомкнутые. Спи, жена Охотникова! Спи, краса непаглядная!.. Эх, вернуть бы время назад — все простил бы Охотник ей, все чудачества!

Но тут сморила усталость молодца, приснился ему сон удивительный. Из глубокой, могильной тьмы явились разные чудища. Была средь них Ямба Акко, Желя-печальница, Корша [illegible], Баба Ягая...* Протянули руки они к домо[illegible]покойницы — и снег в колоду посыпался. А [illegible]го Снегурочка, восстала жена Охотника. Жила [illegible]Лебедушка! Потянулся он к своей красавице, [illegible]ышались потолки дубовые, заглянуло в могилу светило ясное, золотым лучом коснулось Лебеди — [illegible]ло жены Охотника, словно истаял снег от жару солнечного.

Встрепенулся, встряхнулся Охотник — пробудился от сна тяжелого. Перед ним лежит жена мертвая, веет в лицо подземным холодом. А вверху, в малом оконушке, наплывают звезды на полночь.

Вдруг чует Охотник — на земле сильный вихрь поднимается, какого не видано и не слыхано, людьми старыми не запомнено. «Что такое приключилось? — думает. — Уж не зверь ли это Арысь-поле порыскивает? Зверь не зверь, а чудо чудное, диво дивное... Не Полкан** ли с Лешим поигрывает? Иль бранятся царь Огонь с царицей Молоньицей? Или чудище скачет неведомое: ископыть глыбы выворачивает, ключи воздымает подземные, а в озерах волна колеблется, с желтым песком мешается, в лесах деревья шатаются, к сырой земле приклоняются?»

---

* Ямба Акко — лопарская «мать смерти», Желя — славянская богиня печали, Корша — символ болезней, Баба Ягая — сказочная привратница царства мертвых.

** Арысь-поле — сказочный зверь-оборотень; Полкан — полубог, человеко-пес, необыкновенно скор на бегу.

Разошлись тут бревна дубовые — видит молодец, птица с неба спускается, на дерево садится надмогильное. Машет она крыльями широкими, а с них словно жар сыплется! Кинулся Охотник испуганный к коню своему богатырскому, за могучий круп его спрятался. И оттуда разглядел он... белого лебедя. На крыльях просторных сияла звездочка, словно одну из небесных блистаниц сорвал вольноскиталец сильным розмахом.

И признал тут Охотник в лебеде Звездолова крылатого! И взыграло сердце молодецкое, распалилось кипучей яростью, кровь застлала очи ясные. Мнится ему, мерещится, что не белая птица перед ним, а чудище — змеище огненный.

«Ах ты ж погань богомерзкая! Алманашник, зодейщик* заоблачный! Бездны вселенской выходец! Кровушки мертвой жаждешь ты?!»

В те поры срывался лебедь с дерева, опускался в яму могильную. Лишь коснулся он сырой земли, увидел Охотник молодца светлоликого да светлоокого, а у ног его — перья лебединые, на ладони — звездочка ясная.

Взглянул Охотник озойливей — и узнал, узнал небесный огонек! В звезду эту он трижды целился, да ни разу не попал в нее, не вернул душу Белой Лебеди...

Замерцала звезда над ее лицом, и видит Охотник затаившийся, что на свет души зачарованной выползают чудища кромешные. Имя одному — Ревность лютая, а другому — Подлость тихая, третьему — Зависть злобная, а четвертому — Хитрость низкая, ну а пятому — Лжа ржавелая, а шестое звалось Двуличием, а седьмое называлось Беспамятством... Гады все эти уродливые поселились в теле жены его, да чистый свет их повымянил, гнойные глаза повыжег им, пасти жадные опалил — смерти их предал мучительной.

Прикоснулся светлый балий** устами к звезде — и приложил к устам покойницы. Словно душу ее с по-

* Алманашник, зодейщик — звездочет.
** Балий — колдун, заклинатель.

целуем вложил! И видит Охотник из укрытия, что вздохнула-встрепенулась Лебедь Белая, вот-вот откроет очи ясные, вот-вот из мертвых пробудится. Вскакивал он тогда на резвые ноженьки, из-за пояса меч выхватывал, возносил над головой Звездолова безбранного.

Что за морок?! В глазах его помутившихся оболокся Звездолов белыми перьями, крылья одели бока — и уж нет в помине ни змея огненного, нет ни птицы чудесной заоблачной, нет волхва светлолицего — в сырой земле острый меч торчит! Но поглазилось, что в поднебесье промелькнул чей-то образ неведомый: то ли птица крылом ночь прорезала, то ли всадник проскакал, словно просветил молнией. И зародился в небесах млад-светел месяц.

Как принялся кричать тут Охотник громким голосом! Как засвищет соловьиным он посвистом! Как заржал его добрый и верный конь! На реке воды взволновались, на дубах орли раскричались, на вратах городских стражи просыпались. Бежали люди полусонные в поле чистое, выводили из могилы Охотника, выносили они Лебедь Белую. Умывали чародейку ключевой водой, утирали травой лебедкою*, просыпалась она от сна смертного — еще краше, чем была.

— Ох, — говорила Лебедь Белая, — долго же мне спалось!

— Кабы не я, — Охотник чванился, — спала б ты непробудным сном по сю пору и до веку!

Поднялась на ноги Лебедь Белая, ясным оком повела вокруг, осветила всех улыбкою — окроме удачливого Охотника.

— Долго мне спалось... — промолвила. — Да во сне многое виделось!

И ужалила тут мысль Охотника: победили догадки женские все его клюки** коварные.

---

* Лебедка — душица.

** Клюки — хитрости.

А народ на чудо дивуется! А народ богам требы кладет, жертвы несет Диве-праматери! Но не пристал Охотник к веселию: брал жену за руки белые, вел ее в дом свой, возводил в светлицу теремную. Запирал он двери засовами, собак цепных сажал на ступенечки.

— Нет уж веры в тебя, свет-Лебедушка. На любовь твою мне надежи нет! И сидеть тебе долго в этом тереме... Вот поставлю я два чана огромнейших: один с водой ключевой, другой пуст еще. Как из первого воду выпьешь всю, а второй слезами до краев нальешь — позабудешь свои лисьи хитрости, лишь тогда на волю выйдешь вольную. А про звезды и лебедей... лучше и не вспоминать тебе: крепки решетки оконные!

Ни словом жена не провещилась, но не знал Охотник злопамятный, что первый же взгляд Звездолова вещего лег ей на сердце как печать.

Письмо седьмое. Автор — читателю.

Друг мой и неприятель! Будь я уверена, что сердце твое безусловным сострадание отозвалось моим героям и мне, я не стала бы мучиться над этим обращением ко всем и никому. Немного похоже на выступление перед телекамерой, но в студии все-таки есть живые люди, а вокруг меня нетерпеливо толкутся мои фантазии, недовольные неожиданной остановкой.

Осталось самое трудное: встреча Настасьи и Светлого. Внимательный взор твой, наверное, уже заметил мою ревнивую неохоту открыть его лицо. Да и зачем! Ведь Настасья — замученная оболочка — живет и второй жизнью, Белой Лебеди, а там явление светлого Звездолова уже произошло. Так стоит ли двоить это описание. Земле ведь ни к чему вторая Луна, правда?

И еще... Как бы ни были горестны и возвышенны первый взгляд Настасьи и Светлого, их первое слово, и поцелуй, и ночь, ты все равно не встанешь на их сторону полностью. В тебе непременно заговорит какой-

нибудь муж, который хочет, чтобы жена принадлежала ему, как земля; или несчастливица, для которой всякая счастливая в любви — воровка и ехидна; или завистник со щитом общепринятой морали; или вековечная смиренница; или отец, у кого увели дитя, принеся его любовь в жертву женской любви; или, напротив, удачники, еще в юности, божьей милостью, нашедшие друг друга, ныне одетые сединами и безгрешностью... Они все будут правы, когда спросят: «Ну чего ей не хватает в жизни?!» Ей ничего не хватает. Таким, как она, всегда не хватает отмеренного судьбой — и обществом. А может быть, ей нужно, чтобы хоть о чем-то в жизни нельзя было сказать: «Нет, [illegible] и это». Хочет платить не по копейке, не за вин[illegible]

А платить при[illegible] будут, осудят! Предвижу. Стоять нам втроем [illegible] грязи. А ты... друг мой!.. ты опусти свою [illegible] руку.

Мне хотелось бы на этом покончить с письмами. Я, конечно, переувлеклась оправданиями и объяснениями. Тоже — привычка...

Итак! Уже рванулась Настасья из мира своего в мир Белой Лебеди, и так перехлестнулись две ниточки, что даже я не властна расплести их. Тем более ты, друг мой. Да и не стоит. Все необычайное совершается втайне!

— Милая, моя милая! Высокие и темные леса выросли на моем пути. Словно сеть держат они меня. Хочу пролететь над лесом — он вырастает до небес. Хочу проныр[illegible]нуть под ветвями — они опускаются до земли, ломают мои белые крылья. Хочу мимо пролететь — раскачивается лес, не пускает!

— Ветры буйные, храбрые ветры, полуденные, ночные и полуночные, денные и полуденные, дуйте и подувайте, принесите ко мне любимого моего!

— С разлету бросаюсь я на дерево — и оно разби-

[illegible] в пыль, а за ним и другое отступает в страхе! Больно крыльям моим!

— Голос твой прилетел ко мне и обнял меня. Где [illegible] руки твои?

— Высока ограда у твоего терема! Не [illegible] ни птичка белогорлица, ни дикий зверь лихошерстный.

— Смотри, у ограды есть щель. Тронь ее крылом — отворятся ворота.

— Милая, крепки решетки на твоем окне! Пролетел я по всем чужедальним сторонушкам, отыскал тебя, да неужель не достигну?

— Слеза моя капнула на решетки оконные — истаяли они, будто сосульки.

— Свет ты мой небесный, уж не чаял я и видеть тебя! Как лебедь по лебедке тоскует, так я по тебе тосковал.

— Ненаглядный мой, боги тебя мне послали. Не могу жить без тебя ни единой минуточки.

— Лицо твое белее снегу...

— Яснее месяца...

— Истомило меня ожидание, от усталости руки опускаются, ноги подламываются.

— То не усталость клонит меня и тебя — к любви клонит нас.

— Подожди! Прежде чем любить меня, погладь душу мою.

— Мы уже были с тобой! Кто-то рождался раньше деревом, змеей, птицей, а мы всегда были возлюбленными, которых встреча случайна, как... неизбежность. Я уже любил тебя на берегах Обимура! И говорил тебе эти древние слова:

Возжелай тела моего, ног!
Возжелай глаз, возжелай бедер!
Глаза твои и волосы, вожделеющие
Ко мне, да пожухнут от любви!
Льнущей к дланям моим тебя я

Делаю к сердцу льнущей,
Чтоб ты попала под власть мою,
Чтоб склонилась к моему желанью!

— Уж не могу я слушать только лишь голос твой. Тело мое стонет по тебе. Раздели со мной любовь.

— Как сладко нам лежать с тобой вдвоем.

— Лицо твое на груди моей, словно ладанка.

— Ты моя кровь.

— Ты мое сердце.

— Тучи понесли в дальние страны раскаты нашей любви.

— По небесной реке уплыли мы...

Немало зорь утренних, немало зорь вечерних минуло — щемит ретивое у Охотника. Не спится, не лежится ему в постели пуховой. Грусть-тоска напала или хворь какая прикинулась? Или жалость к жене томит непрошеная?.. «Нет! На что мужику Лебедь Белая? С гусыней дома спокойнее!»

Бродит он вокруг терема, смутную думу думает. Между тем небеса зарей зарумянились, и увидел Охотник: из окна, что своей рукой запер он на засовы железные, выпорхнул белый лебедин. Полетел он за темный лес и растаял в поднебесье!

Закутилось-замутилось в голове у Охотника, в глазах зелень выступила, словно смертной ествы отведал он. Вновь крылатый гулеван пожаловал?!

Кинулся он бережатых выспрашивать — те, зевая, ему поведали, что и утресь лебедя видели, да беды никакой в том не чаяли... Крепко Охотник слуг своих вылаял, призвал на них свербеж с коростью, сам тоскекручине предался, ни запить — ни заесть ее.

«Коснулся проклятый оборотень моего солнца ясного, настало светилу затмение. Хоть топись от горького горюшка! Нет, шалишь. Не на то родился я, чтоб топиться в реке, а на то родился я, чтобы татя сбит

...искучего. Найду, как со свету сбыть лиходея крылатого. И твои слезы прольются, изменница».

Оседлала Охотника ревность лютая, погнала его в дорогу далекую, к нечестивцу гадателю.

Страшно, страшно в пещере обавника*! Варит он травы зельные во медяной росе, пред огнем произносит заговоры... И хоть имел при себе Охотник когти филина, что безопасность дарują от колдовства, все ж заиграла в нем кровь от страха лютого. Насилу слово прощальное вымолвил!

Ну а черному чародею что ж? Лишь бы счастье порушить завистнику. Хоть бабуны ему подсказывали, что Звездолов — светлый чародей, но от веку тьма солнца не жалует!

Стал учить он вседейству Охотника:

— Коли хочешь лихо наслать ты на ворога, из глины его подобие вылепи, назови идола именем супостата своего, в тайном месте схорони, прострели двадцатью семью стрелами! А коль загорелось тебе разлучить двух любящих, ветку-рогатку надобно срезать с дерева, разломить сучок на две часточки и одну сжечь, другую — закопать. Хорошо пользуют средства эти древние! Особливо со словом злокозненным.

И завел, глумясь, скороговоркою:

— Стану я до белой зари утренней, пойду из дому не дверьми, не воротами, а дымным окном да подвальным бревном, побегу я в темный лес, на большое озерище. В том озерище плывет челнище, в том челнище сидит черт с чертищей. Сиди ты, чертище, прочь лицом от своей чертищи; поди ты, чертище, к людям в пепелище, пошли свою чертищу в чужое избище, к Настасье, Белой Лебеди. Ты, чертище, вели своей чертище, чтоб она распустила волосища! Как жила она с тобою в челнище, так жил бы Звездолов с Настасьей, Белой Лебедью. Чтоб она его возненавидела! Чтоб он возненавидел ее! Не походя, не поступая, разлилась бы его

* Обавник — колдун, чародей.

[illegible]ность по сердцу, а у нее по телу — неугожество, опротивела бы ему своей красотой, опротивела бы телом всем...

Почудилось Охотнику, будто клубок змей шипит вокруг! Закружилась голова, чернее черной ночи взор его сделался.

— Знаю теперь, как отвадить разлучника. Но дай мне еще снадобья оморочного для жены, блудницы бессовестной.

— Есть такое зелье в царстве Нияна! Хмель-травой* оно называется. Как раз над могилой блудницы нечисть его высаживала. Тот, кому обречено это снадобье, в морок мгновенный провалится, надолго бездыханным останется!

Щедро Охотник ворожбита одаривал, поспешал домой, к жене своей. А она-то убирается для встречи с возлюбленным.

Отворил Охотник двери тяжелые, бросил в лицо жене колдовское снадобье... Обмерла молодушка, повалилась наземь бездыханная!

Брал тогда Охотник ее на руки, возлагал на подушки пуховые, будто спит-почивает Настасьюшка. Ну а сам, чтоб насытить злобу лютую, отдал потайной приказ слугам своим...

Настала ночь, подошло время срочное, осветились выси заоблачные. Не то звезда несется падучая, не то всадник скачет стремительный. Подобен конь его ясному соколу — летит, до земли не дотыкается. Скачет он с горы на гору, реки и озера перемахивает, широкие раздолья перескакивает... Нет, не звезда это, не всадник удалой — летит Светлый Звездолов к своей зазнобушке. Вложили боги в сердце желание, занялось ретивое любовью жаркою.

Подлетел он к окошку знакомому... и грудью о ножи острые ударился! Хитер, хитер, ревнивый муж... Заго-

---

* Адская хмель-трава — табак.

вор, мол, заговором, а нож — он вернее бьет. Утолил месть свою кровожорную!

В глазах лебедя сменился свет. Издал он клик, печали исполненный, воззвал к своей возлюбленной.

Нет, спит она сном зачарованным!

Из последних сил бился Звездолов, последним зовом будил ее. Нет ответа ему, нет отклика. Сокрушила его беда нежданная, захлестнула обиды петля.

— Прощай, — молвит он, — Лебедь Белая. Знать, не люб уж я тебе. Знать, забыла ты слова свои жаркие. Не к суду пришлось... Остается мне улететь в свои страны дальние. Не сыщешь ты ко мне пути-дороженьки, прежде чем башмаки не истопчешь железные, платье железное не порвешь, не сотрешь железного посоха. Да еще пробудишь ли меня от сна-забвения...

Тут подхватило Звездолова облако, унесло его за темный лес. Лишь остались капли крови на окошке зарешеченном...

...Клик лебединый, похожий на плач горем убитого человека, разрезал-таки зачарованный сон! Настасья подняла от подушки тяжелую голову. Руки, чудилось, прибиты к постели. Словно бы смерть на короткое время убаюкала ее в своих объятиях.

Щемило сердце! А сон, явившийся к ней, был мучителен. Видела Настасья, что Светлый взвился с ее ложа белым лебедем, омылся в вышине солнцем, луной и звездами — да и растаял. А она, Настасья, лежит на земле поверженная, вокруг сгущается привычный туман повседневности. И видит она вдруг, что занавес тумана слегка раздвинулся! Бросилась в эту щелку, но края серой печали начали вновь неудержимо смыкаться. И чей-то плач послышался: «Что за печаль, что за обида горькая? Муж велел наплакать чан слез, возлюбленный — платье железное износить заповедовал».

«Боже, что со мной? Почему так болят пальцы, буд-

[illegible] Где мой любимый [illegible] ночью? За ок[illegible] [illegible] зарей, и [illegible] Укрылось солнце [illegible] следов не [illegible] на обшарпанный [illegible] свои босые ноги? И [illegible] сердце, словно мне знакомы [illegible]

[illegible] зову. Настасья распахнула [illegible] алую капельку, пристыженно [illegible] влилась в губы — поседела [illegible] И омыла Настасья слезами кровавый след.

— Ох, было счастье, было, где оно!

Глаза Оха светились решимостью. Настасья даже не сразу узнала вечного горюна.

— Не кручинься, свет-Настасьюшка, — ласково зашептал Ох, щекоча ей ухо. — Утро вечера мудренее, кобыла мерина удалее: возку возит и жеребят носит. Надо ухитряться избывать беду. Погляди в окошко!

Сперва у Настасьи в глазах все плыло, а потом увидела она под окном вместо привычного двора бескрайнюю равнину. Была она похожа на крыло, которое [illegible] по полету, пустая, желтая от ветра и белая от снега. А вдали маячила смутная серая фигурка. Это была женщина — вся в пыли странствий. Вслед ей тянулся какой-то длинный, бесконечно длинный серый плат...

Шла странница неторопливо, но стремительно, и, что удивительнее всего, увеличивалась в росте неудержимо, а [illegible] Там, на равнине, она была с малую былиночку, а [illegible] с домом Настасьи сделалась ростом в этот дом. О[illegible] ступилась ее огромная нога прямо в комнату, но почему-то не треск разломанных балок и грохот камней услышала Настасья, а только громкую песню-попутчицу:

...А се!
Я разлеглася.
Кабы я встала,
Так небо достала.
Кабы рот да глаза,
Я бы все рассказала.
Кабы руки да ноги...

Когда утихла нечеловеческая песнь и улеглась немного муть испуга, то рядом с Настасьей, раскроив дом так, что и малая трещина не поползла по стене, проходила ровная дорога, и была она необозрима.

Не поняла Настасья замысла стихий... Вернее сказать, ее сердце напялило вдруг на себя скорлупку испуга, надеясь отсидеться, избавить себя от понимания, вынуждающего к решительному шагу. Но тут Ох, сила нечистая, выволок из невесомого старую знакомую — Кручину. Да нет... это Любовь. Да нет! Обе сестрицы явились нынче в одном обличье, словно отражение в зеркале сошлось с отражаемым.

— Почему ты не даешь мне крыльев — догнать его, вернуть? — исступленно крикнула Настасья, потому что горькая потеря вновь ожила, толкнулась под сердце, как беремя.

— Море — дорога китов, небо — дорога лебедей, земля — дорога людей, — ответила Любовь-Кручина с привычной загадочной вычурностью. — Тебе еще долог путь до полета.

— Мне идти по этой дороге? А нельзя ли...

— Слезе на ресницу не подняться! — Это прозвучало как приговор. — Несудьбу свою надобно изделять. — И кривая усмешка Кручины проглянула на миг: — А то... окружат твоего Светлого девицы зазорливые, повьют его речами сладкими, затуманят случайными поцелуями...

— Я всю Вселенную изойду, а его найду, — тихо сказала Настасья, и Ох с облегченным вздохом растаял в стене, словно старик, который ушел в долгожданную отставку.

Любовь между тем подала Настасье железное платье, железные башмаки и железный посох. Настасья стремительно оделась, выхватила из постели крепко спящую дочь и укутала ее одеялом, как кутала давно, давно, еще крошечной, чтобы усадить потом в санки и пуститься по морозу и темноте в крестный путь до яслей.

Примостив голову девочки между своей шеей и плечом, Настасья оглянулась — и глаза ее блеснули:

— Я бы подожгла этот дом одним взглядом!

Любовь-Кручина покачала головой:

— Оставь загадку...

Настасья усмехнулась. Она вообразила лицо мужа! А когда ей представились лица соседей, первый смех скрутил горло.

Любовь-Кручина, [illegible] на шее тяжелые зеленые камни, смотрела на нее, стоя в уголке, и Настасья, доверяясь молчаливой подсказке своей извечной советчицы, ступила на дорогу. Сделав несколько шагов, она увидела на обочине развесистый куст шиповника, на котором не было колючек, а на ветках мирно дремали рядом и цветы и ягоды. Настасья быстро поцеловала дочкин теплый висок и уложила сонную тяжесть в светлую середку одного из цветков.

— Спи, спи. Дождись меня здесь! Я вернусь, я приду, когда ты проснешься, а проснешься ты, когда я приду. Или прилечу, даже без крыльев, приползу сюда. Сохраните ее, цветы и ягоды!

Она пробежала несколько шагов с умирающим сердцем, чувствуя себя сейчас даже не гусыней, а кукушкой, и вот-вот бросилась бы назад, когда б ее не подтолкнул страстный голос Любви:

— Не оглядывайся! Только не оглядывайся!..

И Настасья пустилась бежать, и лишь ветер вышел проводить ее. Безобразник ветрец увязался было тоже, но только и мог он, что трепал Настасьины железные одежды, они скрежетали и мешали, и тогда старший ве-

тер. отвесив сорванцу такую оплеуху, что тот свалился в Город, коснулся Настасьиного рубища — и стало оно легче пуху лебединого.

Она летела, будто бы звезда по ясному небу, пока косой луч рассвета, шедший то впереди, то следом, не озарил внизу новые земли. Там уже березовица струилась из стволов, лед на реке изныл, исчах — давно вешница * буйствовала. И поняла изумленная Настасья, что Обимур течет и тут, словно не смог он покинуть верной подруги, поклонявшейся ему от рождения.

— Обимур! — задыхаясь от высоты, крикнула ему Настасья. — Что печален, что мутишь ты волну серебропенну?

Седой гребень вознесся к ее ногам.

А средь обимурских разливов зеленели стены лесов. И взмолилась Настасья:

— Звери лесные, птицы поднебесные! Вы, звери, всюду рыщете, вы, птицы, всюду летаете! Разыщите моего милого, скажите, что бегу я к нему быстрой стопой!

А позади реяло эхо:

— Не оглядывайся! Не оглядывайся! Не огля...

А тем временем пробудился Охотник от сна.

Начал одеваться — и не поверил своим глазам. Золотой волос жены, заботливо ею в свитер ввязанный, поседел, истончился вдруг.

«Что за пропасть? Что еще приключилось вдруг? Уж не этот ли... вновь пожаловал? Нет, изранены его крылья быстрые, далеко он, даже ворон его костей сюда не занесет». Однако поселился в сердце боляток, и ничем тот нарыв не уймешь.

Поднялся он с дивана угрюмого, пошел крадучись к жене в светелку. Распахнул дверь — и обмер. Нет Настасьи! Нет Белой Лебеди! На полу книжка валяется. В ней слова огнем наливаются: «...остался один со

* Вешница — весенний разлив.

своей охотой век доживать, а стоил бы лучшей доли...»

Был со всем — стал с ничем удача — добрый молодец!

В кладовой, где припасы хранились охотничьи, забилось ружье, бедой хозяйской бедуя, патроны от горя залпом с собой покончили — лишь один остался, наполненный дробью жалящей.

Топтал Охотник половицы дубовые:

— Ты скажи, пол, куда подевалась хозяюшка?

Промолчали [illegible], [illegible] верные: ежсутренне их Настасья обла[illegible] водою теплою. Но отозвались обои обо[illegible]

— Горемычный [illegible] ты наш! Сколько лет ты жизнь уж дарусь [illegible] заклеиваешь нас новыми обоями! Удружим [illegible] и мы. Сбежала твоя хозяйка. По дороге [illegible].

— Где ж дорога [illegible] — вскинул Охотник глаза. А Любовь, подружка Белой Лебеди, путь ее туманом позавесила, принакрыла его легким облачком, чтобы скрыть от мужа разъяренного.

Кинулся Охотник в ноги Любви, моляще заглянул в лицо нездешнее:

— Верни мне силу прежнюю! Резвость дай ногам, уму — догадливость! Крепость дай руке моей — и сердце укрепи. Помоги воротить Лебедь Белую!

— Где поймать буйный ветер во поле... Растаял лед на реке — улетела лебедь в небеса. Прощай, не коснется тебя рука моя более. Лебедь ты гусыней называл, от своего сердца крохи ей отламывал. А теперь хоть все его отдай — некому хвалить твое щедросердие. Я прошла, как заря проходит утренняя!

Впрямь прошла Любовь сквозь Охотника — и пропала из дома этого.

А Охотник бил кулаком по зеркалу, он рычал-вопрошал: где жена?! Зарябило от страха зеркало, но сестру-близнеца не выдало. Но тут со скрипом тяжелым,

предательским отворились шкафы одежные, выползли из них платья узорчатые, из дорогих шелков сшитые:

— Разве мы не лелеяли Лебедь Белую? Мы ее тело не гладили? Мы стройный стан не обволакивали на зависть подруженькам? А она предала нас, всех бросила! Мы-то думали, властны над ней, полонили, манили, душу женскую. А она от нас бежать бросилась — и не оглянулась на прощание! Укажем тебе путь за ней.

Из-под стан платьев вязание выползло, завертелся у ног Охотника клубок шерстяной:

— Ты ступай за мной, держись за конец моей нити.

Бросился клубок в окно — за ним дорога обозначилась... Опятнал* Охотник жену свою, сделал шаг... да воротился вдруг, свистнул охоту свою верную, платья на растерзание бросил ей.

— Вот вам, вот вам, предатели шелковые! Ах, зачем рассказали правду, зачем указали дорогу вы мне...

Проломило тут ружье звери запертые, на шею хозяину бросилось. Нагрел ствол в гладкий ствол заскочил. Ну а руки привычно взвели курок.

Вновь Охотник подхватил нить путеводную. Погоня ярость его утолит!

Долго ли, коротко бежала Настасья своим путем в страхе и сомнении. Иногда, измучась неизвестностью, умывалась слезами — туда ли идет она? близка ли цель заветная? — припикала чутким ухом к теплому телу дороги, слушала дальний свист крыл — и, подняв-шись, неутомимо спешила вперед. Вот и посох ее стерся, точно старый зуб, одежда превратилась в лапотину, от железных башмаков одни осметки остались... И дорога внезапно кончилась! Прилегла к усталым ногам бездорожица. Нельзя на сырую землю сесть отдохнуть.

* Опятнать — узнать след.

[illegible] кругом вязучие — сядешь, так по конец века не соберешься.

Замедлился легкий Настасьин бег — и тогда Тень ее вилотную приблизилась. Все это время она плелась позади и плакала, звала если не вернуться, то хоть оглянуться! Но знала Настасья, оглянешься — набросятся Угрызения совести, начнут уязвлять — не вырвешься.

Она плакала на бегу:

— Отпустите меня! Разве мало я слез пролила? Разве можно жить все в долг и в долг?

Она сбросила полуистлевшие башмаки и босыми ногами оставляла кровавый [illegible]

— Утешьтесь слезами моими!

Но Тень, скуля, спешила [illegible] в след:

— Ну оглянись, Настасьюшка-а-а!

И когда казалось, [illegible] сил противиться, увидела она долгожданный край пути... Красное солнышко клонилось к западу, а прямо перед Настасьей переминалась избушка на курьих ножках.

«Еще бог милостив!» — Настасья с облегчением шагнула к двери — нет, равнодушно отвернулась изба.

«Что же делать? Коль стоит она на пути моем, значит, надо как-то войти в нее, будь это даже застава на пути в царство мертвых».

— Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом!

Презрительно скрипя, изба повернулась, дверь недоверчиво приотворилась. Настасья ступила, дрожа, на лестницу — и замерла. Гляделась избенка малехой невеличкой, а лестница уходила под самое небо!.. На нижней ступеньке сидела толстая и одноглазая девка.

— Сестрица, пусти переночевать! — взмолилась еле живая Настасья.

— Чужих пускать не велено, самим места мало, — буркнула одноглазая привратница.

Так и села Настасья у входа. Вещует сердце —

близко милый, а путь заложен! Что делать, подружень-ка Любовь? Подняла расплывающийся взор и увидела, что Одноглазка прикорнула, да тут же и вскинулась, бдительно таращась на бесприютную бродяжку. И только было открыла она рот, чтобы изгнать приблудную, как, повинуясь подсказке Любви, Настасья вкрадчиво запела:

— Спи, глазок! Спи, глазок!

Ой, ой... тише!.. Откинулась Одноглазка на ступеньку, с наслаждением всхрапнула... а Настасья, ног под собой не чуя, метнулась вверх по лестнице.

Одолела несколько площадок — и видит: сидит поперек пути другая приватница, а глаз у нее два, как у добрых людей.

— Чужих не ве!.. — возопила она было, да Настасья, не растерявшись, затянула свое:

— Спи, глазок! Спи, другой! Спи, глазок! Спи, другой!

О чудо, и эта преграда позади. Но выше Настасья уже не бежала бегом, шла крадучись, замирая перед каждым поворотом, и благо потертый ковер приглушил ее шаги, заранее заметила трехглазую сторожиху. Хоронясь за перила, сладким голосом завела:

— Спи, глазок, спи, другой, спи, третий!

Трехглазка длинно зевнула, обмякла, и Настасья, еле переводя дух, сама себя не слыша от волнения, прошептала снова:

— Спи, глазок! Спи, другой!...

А про третий-то и забыла.

Придремнула толстуха, а Настасья стремительно миновала ее и, разводя руками облака и туманы, застилавшие путь (ведь она поднялась уже очень-очень высоко, почти под самые звезды), побежала по длинному коридору одинаковых дверей, пока перед одной, ничем не отличающейся от других, не услышала еще одну подсказку Любви:

— Он здесь.

Любовь говорила еще что-то, но кровь застучала в висках, Настасья не расслышала. Она всем телом прильнула к запертой двери, и сердце ее колотилось так сильно, что растолкало замок... дверь распахнулась.

Светлый, любимый, лежал на узкой кровати в тесной каморке и спал богатырским сном.

Кинулась Настасья на грудь его, обвила своим телом белым, облила жаркими поцелуями — нет, спит ее лебедин, не ведает, что прилетела лебедушка.

Поняла Настасья, что теперь его опутало вязье сна-забвения. Что же делать?

Тут-то и не выдержала Настасья. Надсадилось сердце! Хлынули из глаз слезы горючие, полились из уст речи обидные:

— Я для тебя в такую даль забрела, а ты спишь и, наверное, другую во сне видишь!

Закапали слезы на плечи спящего — вскинулся он, словно обожгло его:

— Ты пришла, моя ненаглядная! А я и сплю — красоту твою в глазах вижу...

И вновь восцвели поцелуи на их губах, и забыли они, что комнатка тесна, стены тонки, кровать узка, разметали грубые простыни, жарко дыша друг другу в лицо. И когда уже пресеклось у обоих дыханье, когда стемнело в очах, вдруг...

...вдруг откуда ни возьмись — страшный крик:

— Чужих пускать не велено!

И затряслась от ужаса запертая дверь.

Злая сила разорвала сплетение рук и ног. Хихикнула чья-то позабытая в углу зависть, увидев, каким страхом и забвением наполнились глаза Настасьи и Светлого, словно кровавое разбойство и татьба настигли их ночью в пути.

Заметались оба по каморке, суматошно натягивая одежды, но так тряслись у них руки, что не могли с вещами справиться, а в двери уже злорадно скрежетал ключ:

— Чуж-ж-жих пус-с-скать не велено!..

И тогда, взглянув в последний раз на белое лицо любимого, вскочила Настасья на подоконник — грудью ударилась в стекло.

Без брызг, беззвучно расплавилось оно под ее пылающим от стыда телом, и Настасья повалилась вниз, и среди разлетевшихся в разные стороны мыслей одна была о кусте шиповника при дороге, а другая о том, что высоко-высоко... и, наверное, разорвется сердце прежде, чем разобьется тело.

Безумная сила рассвета! И в этот миг Настасья вдруг ощутила, что напор ветра ударил ей под руки, взбросил их, одарил странной, легкой силой, одел ее тело белыми, лебяжье-белыми одеждами! И мягко, приветливо закивала снизу земля.

Но тут... из камышей болота черного, из туманных топей выглянул пришелец, мрачный, жалкий и странный, с недавних пор тут скрывавшийся, отдавший душу тоске на растерзание, все силы свои вложивший в палец, что навек прикипел к курку.

Словно бы туча молниеносная из болота ударила — обожгло пламенем крыло Белой Лебеди. Закачалась высота поднебесная в ее глазах, вновь отяжелело тело стремительное, злобно засвистал воздух вокруг.

Возносились к солнцу облака, а Лебедь к земле падала, с жизнью прощалась она.

И когда неотвратимой встреча с твердью казалась, сверху пал светлый лебедин, подхватил ее крылом своим.

Заря открыла им свои врата пылающие! Летели они, прижавшись друг к другу, и чудилось тем, кто смотрел им вслед, будто у них на двоих только два крыла.

Летели лебеди, пока не растаяли вдали, словно облако.

ЧУЖОЙ

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

. . . . . .

И, зная все, кому расскажет он
(...) видения?

Н. Заболоцкий

...Ярро, сын Герро и Барры, лежал на снегу и смотрел, как солнце катится за синие сопки на противоположном берегу реки. При этом белые пушистые облака заливались красным светом. Ярро вспомнил теплую кровь, пятнающую мягкое, трепещущее тело зайца, но не двинулся с места...

Имя Ярро по-волчьи значит «чужой». Почему именно ему дали это имя, было непонятно. Ведь он родился в стае, в тайге, это его мать была чужая: она когда-то пришла в тайгу от людей, ее, собаку, приняли к себе волки, а молодой Герро — теперь он вожак стаи — сделал ее своей подругой. Но матери дали имя Барра — «красотка» — и она принесла своему спутнику в стае пятерых... волчат? щенят? — словом, пятерых...

тенышей. Четверо получили нормальные волчьи имена, а тот, кто появился на свет первым, оскорбительную кличку — Чужой. Иногда Ярро чувствовал за это злую обиду на соплеменников, но утешался тем, что, став взрослым волком, он сможет взять себе другое имя. Ярро хотел бы называться как отец — Ветром, а еще лучше — Храбрым. Но если он успеет до того, как ему исполнится три года — время выбора нового имени, — совершить задуманное, то потребует, чтобы его назвали не иначе как Убивший Человека.

...Мать Ярро считалась в стае непревзойденным знатоком повадок Человека. С нею советовались даже матерые волки, и не зря: долгие годы ее жизни прошли в логове Человека.

Тогда ее имя было иным. Тогда эту желто-серую узкоглазую лайку с неул[illegible]вым выражением острой мордочки звали С[illegible]. Хозяину привезли ее из далеких холодных кра[illegible]шечным щеночком, и Сильве иногда снились беспр[illegible]ые белые равнины, колючая наледь между [illegible] натруженных лап, которую на привалах пр[illegible]ится долго выгрызать, тяжесть постромок, [illegible] назад, в то время как общее тело упряжки рвется вперед и вперед... Она не испытала этого, но, наверное, память предков сохранилась в крови. Эта смутная память была подавлена теплой, сытой жизнью в квартире из трех комнат — так называл свое логово Человек. Превратиться в некое подобие холодно презираемых ею глупо-кудрявых или тонконогих, вечно трясущихся собачонок ей мешала неутихающая и непонятная тоска, глубоко спрятанная под привязанностью к Хозяину и Хозяйке, внешне проявляющаяся в капризном, независимом характере. Неуемная страсть Хозяина к лыжным прогулкам зимой и частым походам летом помогала этой тоске развиваться и крепнуть. Действительность оживляла краски, запахи и звуки памяти, добавляя к ним то, чего не знали и не могли знать предки Сильвы, не покидавшие северных земель.

Тайга пугала и манила Сильву: резко, больно билось сердце от бесчисленных живых запахов, шире раскрывались длинные, узкие глаза, сильные лапы подгибались — в тайге у Сильвы всегда был словно бы растерянный вид, но все-таки она послушно и неутомимо шла рядом с Хозяином, не забегая вперед и не отставая, хотя обычно ее было трудно удержать. Хозяин потом частенько заметил с небрежным хвастовством: «Сильва бесподобно [illegible] команду «рядом!», — и не догадывался, что в [illegible] своей собаки был чем-то вроде цепочки, [illegible] ее к спокойному привычному миру.

Хозяйка скрыл[illegible] Сильву. Уж если иметь собаку, дум[illegible] или эрдельку — шерсть у них не [illegible] более престижный и экзотический. Хозяин [illegible] лайку, потому что одно время [illegible] распроститься с тесным и душным г[illegible] в тайге, на худой конец — в дальнем [illegible] собственном доме, колоть дрова, наблюдать [illegible] в печи, а вечером выйти во двор в наброшенной [illegible] плечи полушубке, долго смотреть на чистые, [illegible] затуманенные звезды, чаще бывать в тайге, охотиться. Жена, однако, взбунтовалась, и они остались в городе. Хозяин решил было перепродать Сильву, но отговорил приятель: подсказал, что на этой неприхотливой собачке можно сделать хорошие деньги, когда она подрастет и ощенится, — нужно только подыскать чистопородного партнера. С деньгами у Хозяина всегда было туго. Так Сильва и осталась в доме — как вложенный в прибыльное дело капитал.

Она привязалась к людям, хоть они никогда не нежили и не ласкали ее. Но в памяти — невнятно, полузабыто — жил один случай...

Когда она была совсем щенком, к Хозяевам приехал на зимние каникулы дальний родственник из небольшого приморского городка — пятнадцатилетний мальчик

Сильву тогда только что привезли, она простудилась в дороге и захворала. Задыхалась от жара, глаза слезились и болели, все время знобило... Хозяйка брезгливо передергивалась, слыша жалобное скуление. Хозяин растерялся. Мальчик же все каникулы провел с ней: поил теплым подслащенным молоком с растворенным лекарством, отогревал, завернув в собственный шарф, а на ночь украдкой брал в постель. Именно это запомнила Сильва: горячую темную тишину в комнате, призрачные белые узоры на замороженных окнах, тоску по теплому материнскому боку и давящий страх, который, однако, оставлял ее, сменялся сонным покоем, когда, еле слышно поскуливая, путаясь в одеяле и простынях, она пробиралась к подушке, сворачивалась клубком, старалась уткнуться носом в горячее, гладкое, горьковатое плечо Человека, который — Сильва, не зная названия чувствам, смутно ощущала — любил ее.

Через десять дней мальчик уехал, на прощание поцеловав Сильву в мокрый [illegible] и соленым губами. Он просил Хозяина отдать ему щенка, но к тому времени Сильва уже стала ценным капиталом.

Шло время. Сильва повзрослела. У нее начался какой-то новый, странный период: нового беспокойства, новых ощущений и странной, раздражающей нечистоплотности, в которой она, однако, ощущала нечто, совершенно изменившее ее жизнь.

В один из дней Хозяйка, насупясь, огрызаясь на Сильву, скатала и убрала с полу большую яркую ворсистую подстилку, с которой всегда гоняла собаку, и завесила тряпками мебель. Сильва слегка встревожилась. И не зря. Через некоторое время появился Хозяин в сопровождении широкогрудой остроухой лайки темно-серого цвета.

Сильва ощутила странную, мгновенную тягу к этому

псу — тягу, смешанную с отвращением. В чем дело, она, конечно, не смогла бы объяснить, даже если бы была Человеком, который, как известно, может найти объяснение всему на свете, даже необъяснимому. Но то ли глупо-распяленный оскал его пасти, то ли приторный запах, то ли еще что-то заставило ее забраться под стол Хозяина и затаиться там, злясь все больше и больше, коротко, ненавидяще и вместе с тем отчаянно взлаивая и не подпуская к себе огорченного, испуганного кобеля. Так и не подпустила. Хозяйка смущенно смеялась, Хозяин недоумевающе заглядывал в глаза Сильве, а та гнула шею и нервно [illegible]рагивала.

На улице началась жара, [illegible] опять стало прохладно. От листьев, которые [illegible] шумели над головой, а вяло лежали на [illegible] сырой, острый запах. Ноздри Сильвы ра[illegible] того запаха, все время хотелось выть, но [illegible], а как-то иначе.

У нее опять началась [illegible] опять забеспокоилась, томилась, злилась, в[illegible] умильную морду того кобеля. А с улицы [illegible], запахи!

Однажды Хозяйка, прихватив всегда дурно пахнущее ведро, вышла в коридор к некоему утробно урчащему железному сооружению с огромной пастью, вонючей от множества поглощаемых ею отбросов. Сильва подошла к неплотно прикрытой двери. Что-то словно бы толкнуло собаку. Шаг, еще шаг... Ступеньки замелькали под лапами, в темноте нижнего этажа она юркнула мимо испуганно взвизгнувшей тени и выскочила на улицу. Впервые одна, без поводка и без Хозяина.

Испуг от непривычной, внезапной свободы несколько охладил ее стремительность, но разбег был уже взят, и Сильва, несколькими прыжками миновав двор, выскочила на бульвар, где часто гуляла с Хозяином.

Еще утром мягко пружинили под лапами прелые листья, а сейчас все было покрыто тонким слоем нежда-

но и рано выпавшего снега. Страх, одиночество и ост-
рое — до щенячьего визга! — счастье нахлынули на
Сильву разом, и тут она увидела крупного черного пса
с широкой, почти квадратной мордой, с большими кру-
лыми ушами и мощными лапами. Пес стоял невдалеке,
под деревьями, с которых изредка падали на него мяг-
кие, влажные хлопья снега...

Если бы Сильва знала не только повадки, но и об-
раз мыслей людей, ее не так удивило бы резко измени-
шееся отношение к ней. Живот ее отвисал чуть ли не
до полу, и Хозяйка то и дело поровила неожиданно
ищуть ее своими острыми, всегда громко стучащими по
полу ногами. Сильва предпочитала отсиживаться в сво-
ем углу. У Хозяина [illegible] защиты было бессмысленно.
Он тоже изменился: [illegible] больше Сильву гулять,
а темными утрами [illegible] выпихивал ее из подъезда,
и когда она, тороплив[illegible]вившись прямо у крыльца,
дрожа от страха и [illegible] стыда, скулила у двери,
Хозяин открывал дал[illegible] сразу и всегда с выраже-
ем хмурого недовольст[illegible] на лице. Кормили ее теперь
скудно и плохо, но привередничать не приходилось:
ведь Сильва была уже не одна.

Именно в этом и дело! «Нагуляв» — по выражению
людей — «от какой-то дворняжки», Сильва утратила
преимущество, на которое имеют право только собаки
из «хороших семей», гордящихся безупречными родо-
словными и изысканно-породистыми партнерами. Рас-
пространением их потомства занимаются клубы собако-
водства, а хозяева получают немалые деньги. Собака
же, раз допустившая, как сказал бы Человек, мезаль-
янс, навсегда скомпрометирована, ее репутация беспо-
воротно запятнана. И даже если она понесет в следую-
щий раз от благовоспитанного, чистопородного кобеля,
ее дети навсегда останутся парнями в обществе собако-
водов-любителей. Обо всем этом сообщила Хозяину ди-

ректриса местного клуба собаководства: женщина с землистой кожей и тусклыми, как придорожные камушки, глазами, похожая сложением на бульдога, а лицом на беспородную и оттого злую собаку.

В положенное время Сильва ощенилась. Дома никого не было. Она страшно устала, облизывая детенышей и не заметила, как вернулись Хозяева. Хозяйка начала визжать и поскуливать, в голосе ее слышались нотки неутихающей ненависти, а Хозяин, громко посапывая, проворно собрал щенят и мигом выключил за дверь — прежде чем измученная Сильва опомнилась.

Она бросилась было [illegible], но ударилась мордой и грудью о захлопнувшуюся [illegible].

Хозяин долго не выпускал [illegible] все это время Сильва, истошно рыча, бил[illegible] Хозяйка продолжала скулить от страха, [illegible] и не смея выйти оттуда.

Хозяин пришел, [illegible] в кровь разбила морду; онемевшие лапы [illegible] боль, не чувствовали боли. Едва Хозяин [illegible] бросилась вниз по лестнице.

Ненавистный запах Хозяина, смешанный с милым и жалобным — родным, щенячьим, — запахом, долго вел ее по обледенелым, завьюженным улицам, пока возле тяжелой крышки, из-под которой поднимался пар, не остался только один из этих запахов...

Сильва скребла, скребла подтаявшую землю, потом забралась на горячую крышку и легла там, то обессиленно задремывая, то ожидающе раздувая ноздри. Иногда она вздергивала голову и выла на кусок луны.

Остаток зимы Сильва провела в городе: разыскивала на помойках объедки, попрошайничала возле столовых и магазинов. Она была гордой собакой, но это ее не унижало: большинство времени она проводила, лежа на той крышке. Было тепло. Детей она давно не чуяла

Когда потянуло из тайги робким запахом таяния снегов, Сильва ушла из этих гнусно пахнущих улиц.

Она скиталась по тайге, то подходя к редким жилищам людей, то уходя в колючие деревья и еще глубокие снега; изголодалась, отощала — и вот однажды ночью услышала незнакомый протяжный звук:

— У-у-у-о-о-о!..

Вой ширился, рос, казалось, воет уже не дальний хор незнакомых голосов, а вся тайга: и горько пахнущие ели, и снег, и даже мерзлые звезды, и чернота неба, и сама ночь... И странно, так странно, как никогда в жизни, почувствовала себя Сильва. Что-то оживало в ней — что-то незнакомое, сокровенное, тайное, до сих пор даже от нее самой.

Стало жутко. Она [illegible]. В вышине переливались звуки.

Сильва заметалась [illegible] лапами сугробы. Подпрыгнула, вытянувши[illegible]ку. Упала и некоторое время лежала пла[illegible]мурясь и тяжело дыша. Вой не прекращался.

И вот Сильва [illegible] лапы. Пушистый хвост вытянулся на [illegible]. Она подняла голову и, заведя глаза, чтобы не [illegible] застывших, холодных звезд, завыла сама — призывно, отчаянно, смиренно — и в то же время с надеждой:

— У-у-у-о-о-о!

...Ярро почему-то был матери ближе остальных детенышей, хотя, пожалуй, в его внешности сохранилось совсем мало примет собаки. Изо всех своих братьев и сестер он особенно походил на волка: большой лобастой головой, толстой шеей, широкой грудью, высокими, очень сильными ногами — словом, всей своей поджарой и в то же время мощной статью, которая в будущем обещала еще больше силы. Разве что глаза у него были такие же удлиненные, лукавые, как у Сильвы, да серая

шерсть — более мягкой, пушистой и в то же время более густой, чем у других.

Подобно тому, как Сильве по наследству перешла память об упряжке, бегущей по тундре, так и в крови ее сына жила материнская ненависть к едким и пыльным запахам человеческого логова, злому вероломству, коварству Человека. Он не был рожден с ненавистью — этому научила его Барра. Она вскормила его этой ненавистью, как молоком.

Что считалось самым важным в стае? Добыча пищи — достаточной, чтобы прокормиться сегодня, быть довольным собой и своей охотой — и набраться сил перед завтрашней охотой, которая даст возможность быть сытым завтра и набраться сил для следующего дня. Вожак стаи Герро не убивал ни одного зайца, или юркую лису, или другую дичь только для того, чтобы окровавить зубы, погасить бег [illegible] в глазах животных, а потом уйти, бросив [illegible]. Тому же он учил молодых волков. Но как [illegible] Человеком? Это ведь добыча не из обычных.

— Вожак из моей стаи никогда не нападет на Человека первым, — учил молодых [illegible] Герро.

— Почему? — непочтительно вмешивался Ярро.

— Потому что Человек сильней. Сладость его мяса и соль его крови, аппетитный хруст его костей не стоят того страха, который охватит все твое существо, когда ты будешь идти по его следу, бросаться на него, сбивать его наземь...

— Можно подумать, Человек — лучший друг волка! — задирался Ярро в щенячьей злости на отца, но вожак стаи не опускался до спора с несмышленышем. В конце концов, каждому из волчат предстоит самому убедиться в правильности его уроков, усвоить уроки тайги, охоты, жизни, наконец... Им еще предстоит узнать, что и грязно-бурый, косматый, с короткой мордочкой енот, и плотный, жирный барсук, и стремительная, всегда испуганная тонконогая косуля, и суетливая

мышь — не просто Пища, но и Соседи, которые, как ни странно, нужны тайге не только для того, чтобы кормить волчью стаю. И высоченные кедры, и змееподобные лианы лимонника, и ядовитые красные шарики волчника — тоже Соседи, равновеликие для тайги. У каждого из животных и растений свой мир, своя жизнь и свои заботы.. Тут было нечто высшее для Герро, но объяснить это он не мог бы никаким образом. Да и зачем объяснять? Это — опыт охотника, и дает его не знание, а сама жизнь. Поэтому Герро снисходительно отмалчивался.

Однажды они вдвоем побежали к маленькой речушке. Она была пестрая, переливчатая, ее запахи звонко струились и заливали все вокруг.

Герро и Ярро были сыты и легли погреться на отмели. Герро клонило в сон, но, заметив, как напряженно смотрит в чащу, [illegible] видит там врага, Ярро, он провыл, зевая, — и потерял всякую надежду на спокойный отдых:

— Почему ты хочешь убить Человека?

— Я ненавижу его! — прорычал Ярро.

— За что? Ведь ты никогда не видел его, а ненависти к Человеку нет в крови у волка.

— Разве никто из волков никогда не убивал Человека?

Герро завозился, ложась поудобнее:

— Бывает такое, бывает... Когда Человек находит логово и забирает волчат, мать защищает своих детенышей, убивая Человека. Когда Человек со своими палками, выпускающими гром и смерть, идет по следу волка, волк спасает свою жизнь, убивая Человека. Когда в стужу трещат деревья и не найти пищи, а свежий след пахнет одиноким Человеком, волк добывает пищу для стаи, убивая Человека. Ведь, когда у Человека нет грома, он не так опасен. Он не умеет быстро бегать, лапы его лишены когтей, не могут нанести сильный удар... И все-таки волк убивает Человека без ненависти.

— У-у-о! — взвыл Ярро. — А разве постоянный страх перед Человеком не рождает ненависти к нему?

Герро то взглядывал на Ярро, то отворачивался. Вода играла на солнце, нагоняя дрему. Щенок прав. Какое же еще чувство можно испытывать к тому, кого привык всю жизнь бояться?

Он сонно прищурился. Ярро, крепко уперев в землю сильные, напряженные лапы, смотрел на старого волка сверху, опустив оскаленную морду:

— Вы, волки, ты, мой отец, ненавидите Человека за тот страх перед ним, который носите в себе, который носили и ваши предки. Извечный страх! Собака, моя мать, ненавидит Человека за то зло, которое он ей причинил. И вы, и она родились без этой ненависти. Она пришла позже, ее принесла [illegible] жизни, как эта река несет весной [illegible] — подмытые с корнем стволы. И только я, сын [illegible] волка, ненавижу Человека за то, что он — [illegible] за то, что он существует!

Герро готов был искусать [illegible] щенка.

— «Мой отец — волк! [illegible] — собака!» А сам-то ты кто? Сам-то ты ни волк, ни собака, а туда же! Что ты знаешь о ненависти? Откуда тебе это знать?

Солнце горело в голубом большом небе, которое даже быстрым ногам Ярро не обежать от восхода до заката. Кора лиственниц блестела и переливалась. Тайга была еще зелена, источала летние запахи, но скоро придет осень, листья начнут умирать. Ярро завидовал деревьям и медведям: засыпая на зиму, они просыпаются весной. Как будто умирают и рождаются снова. А вот когда он, Ярро, погибнет, это уже навсегда. Он не проснется больше. О, если бы удалось раньше убить Человека! Только ему понятно это неистовое желание. Только ему!

Он сверху вниз горделиво посмотрел на Герро:

— Я выше вас всех! У каждого из вас есть малень-

кое имя: пес, волк... Я ни пес, ни волк — да! Я волк и пес. Только меня можно назвать одним большим именем. Я — Зверь!

Начало зимы выдалось ветреным, снегопадным. На сером, будто бы неохотно проступающем рассвете воздух становился мягче, влажнее, а потом задувал ветер. Сначала еле-еле, а потом все сильней и сильней. Он наносил запахи встревоженных непогодой зверей, а вскоре уже ничего нельзя было разобрать, потому что струи стремительно летящего снега забивали ноздри и глаза. Охотиться было почти невозможно: буран утихал только на короткое время перед рассветом.

Вскоре метель не[illegible]но резко стихла, чтобы больше не возобновл[illegible]ался ветер, небо словно бы стало выше, по нем[illegible], чередуясь, клочья белых и серых облаков — [illegible] не утихал, по тайгу уже не трогал. В такой [illegible]но было бы подумать и об охоте: волки прого[illegible]но Герро прежде всего решил обойти угодья [illegible]остановить границу. С собой вожак взял Ярро.

Это был длинный и долгий путь. Снегу, рыхлого и влажного, выпало так много, что бежать стало почти невозможно. Приходилось в основном передвигаться прыжками, взрыхляя сугробы. Сердце Ярро больно билось, дыхание стало жгучим. Горло пересохло. Он часто хватал зубами снег, стараясь поспеть за отцом, который неутомимо прыгал впереди, весь белый, в куржаке, останавливаясь то у крупных деревьев, то у занесенного бурелома, поднимая заднюю ногу — метил границы охотничьих владений. Потом отца сменил запыхавшийся Ярро.

Наконец он устал так, что уже почти ничего не видел. Ему все время хотелось лечь. Но вот вдруг отец насторожился. Замер. Вскинул голову, уши стали торчком. Тело напряглось. Ярро не мог справиться с дыха-

нием, но Герро, покосившись в его сторону, угрожающе обнажил клыки.

В тайге было тихо-тихо, лишь, поскрипывая, терлись друг о друга голые ветви в вершинах деревьев. А прямо на волков тянуло кружащим голову ароматом пищи! Ярро уловил запах распаленного скачкой по сугробам и бурелому изюбра, его чуть отдающее горячей хвоей дыхание.

Вскоре он появился перед волками. Голова закинута назад, широкая грудь заиндевела снегом, спина круто заиндевела. Огромные рога.

Изюбры часто бродили здесь, на гористом склоне сопки. Особенно осенью, когда у них начинался гон и они носились по тайге, не разбирая троп и не чуя опасности. Но, наверное, из-за обильных снегопадов стадо изюбров не могло удержаться на прежнем месте. Обычно зимой они спускались с редколесных холмов в долины, где легче добыть корм. А этот забрел на сопку. Так или иначе, изюбр ничего не найдет здесь, а вот волки, похоже, нашли добычу.

И тут изюбр их учуял. На миг он застыл, угрожающе нагнув рога. Герро протяжными прыжками приближался к нему, будто собираясь атаковать в лоб, а тем временем Ярро обходил изюбра сбоку. Рыхлые сугробы и бурелом замедляли его бег — изюбр скосил налившийся кровью глаз и увидел Ярро. Будь впереди только один волк, изюбр обязательно попробовал бы на нем свои копыта и рога. Но связываться с двумя ему не хотелось. У него еще есть возможность уйти и оставить с носом этих двух серых наглецов.

По узкому, стиснутому крутыми сопками руслу шел человек. Иногда, обнаружив знакомую примету, он сворачивал со слегка припорошенного льда — ветром, как в трубу, унесло весь снег, но все-таки по реке идти легче, чем по бурелому, — и заходил в чащу.

Человек был недоволен. Этот многодневный снегопад похоронил все капканы... Как некстати заболел отец! Его опытный взгляд, кажется, и под толщей снега может различить и путик, и след, и капкан. А сыну трудно пока. Пожалуй, до вечера не управиться.

Он вспомнил придавленные толстым слоем снега домики поселка, и густые сероватые столбы дыма над крышами, и заметенные огороды, и синие тени сухих подсолнушных будыльев на пухлых, словно снежные пироги, грядках... Захотелось вернуться.

С достоинством держа голову, изюбр повернулся спиной к Герро и пустился вскачь. Ярро взвизгнул с досады. Добыча уходит! Он растерялся, сел было на лапы, но, увидев, какую скорость набирает, начав погоню, его отец, вскочил и кинулся следом.

Чтобы не столкнуться с Ярро, изюбр взял чуть в сторону. Ему приходилось то и дело наклонять голову, чтобы не запутаться рогами в ветвях. Скорость бега все-таки замедлялась.

Ярро, поняв замысел отца, бежал по краю ельника: отсекал изюбра от чистого пространства, направлял его на неудобный склон. Под сугробами трудно было различить камни, и изюбр часто останавливался.

Но вот ельник кончился. Выбравшись на открытое место, изюбр горделиво оглянулся, закинул голову и снова понесся огромными скачками. Он разгадал, что задумали волки, но это его не испугало. Он был уверен, что сможет уйти к спасительным склонам на крутом берегу, и там, на отстое, не подпустит волков!

Солнце садилось. Дальние сопки утрачивали четкость очертаний, растворялись в дымке. Над их смутной голубизной плыла красноватая полоса заката. Вверху она словно бы линяла, желтела, переходя в зе-

лесовато-вечернюю, медленно сгущающуюся синеву. День истлевал, и вышину уже проколола своим ледяным лучиком первая дрожащая звезда.

Человек нехотя оторвал от нее взор — и чуть не вскрикнул. На крутом выступе нависшей над берегом скалы, четкий и темный, словно бы нарисованный стремительным взмахом кисти на еще светлом фоне неба, возник силуэт изюбра.

Казалось, из-под копыт, секущих камни, летят искры. Наконец изюбр вскочил на скалу и быстро повернулся к волкам, угрожающе пригнув голову. Он победил. С трех сторон клыкастые камни, сзади обрыв. Пусть сунутся!..

Ярро бросился [illegible], но сорвался с камня и закружился, беспомощно [illegible]. Неудача!.. Герро, подавляя злобный рык, [illegible] сорванное дыхание, сел, отвернув острую морду. [illegible] сторожа косым взглядом каждое движение сухих, [illegible] ног изюбра.

Этот рогач умеет только быстро бегать. Сам себя загнал на обрыв и, конечно, радуется: спасен! Герро лег, вытянулся. Волки умеют ждать. Они будут караулить сколько понадобится. Лежать, сидеть в снегу — ждать! Надолго ли хватит сил у изюбра? Терпения у волков больше.

Ярро понял отца и радостно прижмурился. Конечно, есть хочется... Но пройдет немного времени — и он, уворачиваясь от бешено машущих в последних судорогах копыт — одного удара их достаточно, чтобы пробить грудь волка, — мертво прижмет изюбра к земле, вцепившись в его шею, ощущая колючий, жесткий запах его шерсти, упругость кожи, вкус распаленной страхом крови...

Крупный, красивый, зрелый самец! Удача просится в руки. Это тебе не по бурелому пустые капканы шукать. Отцу как раз не хватает мяса для сдачи в госпромхоз.

А с этим изюбром он, пожалуй, выполнит план. Куда! Еще и перевыполнит!

Человек сорвал с плеча ружье и, почти не целясь, выстрелил.

Гром прокатился над сопками, но за секунду до этого Ярро уловил, что изюбр содрогнулся всем телом, а Герро напрягся, подавшись вперед. Но вот изюбр переступил, словно ища опору, а потом начал оседать на задние ноги, мучительно заводя глаза. Еще мгновение — и он провалился в обрыв.

Ярро растерялся. Первым чувством было голодное, злобное разочарование: добыча ускользнула почти из зубов! И почему зимой гремит гром?

Тем временем Герро, который вначале тоже остолбенел, вдруг повернулся и длинными прыжками, словно усталости и не бывало, помчался к ельнику. Опытный волк знал, что́ означает гром среди зимы. К тому же этот гром один раз уже был. Да, волчья добыча стала добычей Человека, но с этим придется смириться. Пока возможно, надо позаботиться о себе и стае, которая не должна остаться без вожака.

Он бежал со всех ног, не оглядываясь на Ярро: волк должен следовать за вожаком, если хочет остаться жив.

И действительно, первым порывом Ярро было броситься за отцом. Но уже через миг лапы сами понесли его к обрыву. Гром... падение изюбра... Непонятное поведение всегда храброго Герро... И что-то, наверное, его ненависть, которую он берег в себе и которой гордился, подсказала ему: там Человек.

Человек склонился над изюбром, все еще не веря своим глазам, не веря удаче. Он отбросил ружье и обеими руками взялся за могучие рога, вглядываясь в уже помутневшие глаза. На мгновение стало не по себе. Зверь был так красив на откосе! Человек поднял глаза к той скале, где только что стоял изюбр, — и обомлел, увидев бегущего на него волка!

Человек был в тайге новичком. Он растерялся и только успел неловко прикрыть лицо локтем, когда волк ударом передних лап в грудь сбил его с ног.

Так вот он какой, Человек! Не страшный, не злой с виду... Но это же — Человек! И Ярро прыгнул.

Тяжесть волка опрокинула Человека, Ярро придавил его сверху, почти уткнувшись пастью в судорожно запрокинутое лицо. Он не чувствовал, как локоть Человека больно уперся ему в горло, как другой рукой тот осыпает его ударами, рвет шерсть на загривке. Он, напряженно оскалясь, уже готов был вонзиться в теплое, живое, дрожащее. И вдруг оглушительная волна запахов накатила на Ярро. Он замер, придавливая своим телом распростертого [illegible] Человека, и силы внезапно покинули его. Пахло [illegible] теплым, горьковатым, спокойным и ласковым. В [illegible] запахе не было враждебности. Ярро задохнулся, [illegible]бнулся в воспоминаниях, которые, оказывается, сама того не зная, оставила в его зубах, когтях, глазах, каждом волоске Сильва. Значит, она научила его не только ненавидеть Человека? Он словно бы ощутил на затылке мерное и ласковое шевеление Человеческой ладони и почувствовал, что в нем борются ненависть к Человеку — и возникшее желание отдать за него жизнь. Ярро чувствовал себя одновременно предателем и другом...

Такого разрывающего ощущения не мог знать ни один настоящий волк, и это, смутно чувствовал Ярро, выбрасывало его из стаи. Вот теперь он действительно был чужой: чужой отцу-волку, чужой матери-собаке, чужой себе, чужой этому полуживому от страха, долгожданному Человеку, которого не мог убить.

Горло Ярро сжалось. Он отпрянул от распростертого Человека. Странные звуки рвали его грудь, и от звуков этих так и захотелось навсегда остаться на снегу стылым комком! Он зажмурился, откидывая голову, и вдруг мучительно, надрывно и неумело... залаял.

КОНТАКТ

Учетчица Галя Филимонова шла со станции в поселок, с ночной смены домой. Мороз неистовствовал. Над станцией кипело мутное облако дыма: на автобазе разогревали моторы, и сквозь серую пелену с трудом пробивалось даже не солнце — пятно, похожее цветом на перезрелую малину.

Галя старалась идти быстрее, но снег скрипел, как крахмал, и разъезжался под ногами.

Ее обгоняли МАЗы с прицепами. Галя раза два пробовала голоснуть, но одна из остановившихся машин должна была на развилке свернуть, а в кабине другой уже было трое. Галя махнула рукой и пошла дальше.

Она миновала притихший лиственничник, где в августе запросто наберешь за полчаса полную сумку масла, сделала еще несколько шагов, подскользнулась, начала падать — и удержалась только потому, что рука-

ми, лбом и коленями уперлась во что-то твердое. Со стороны, наверное, это выглядело нелепо: женщина будто бы уткнулась в невидимую стену... А между тем это было именно так! Галя по-прежнему отчетливо видела все перед собой: и ложбинку дороги, в которую ей предстояло спуститься, и глубокие, накатанные колеи, и разбросанные по обочине хлысты: вчера здесь заюзил в кювет МАЗ, машину вытащили, а груз еще не собрали. Галя видела даже крестики сорочьих следов на снегу — и могла прикоснуться ко всему этому только взглядом.

Она поводила ладонями [illegible]верх-вниз, ощупывая это «стекло», и в отчаянии [illegible] сил стукнула по нему кулаком. Ей показ[illegible], [illegible] кто-то сильно тряхнул ее, взяв за плечи, и она [illegible] чувств.

Она очнулась почти тотчас, но не сразу вспомнила, что произошло. Пер[illegible]ением было, перевернувшись на четвере[illegible], [illegible] подальше. Ей показалось, что ее сбил[illegible], свесившимся с прицепа лесовоза. Наверное, [illegible] и...

Оказавшись в безопас[illegible] на обочине, Галя куснула снегу со щепочками лиственничной коры — и сразу все вспомнила. Она, зажмурясь, вытянув вперед руки, как слепая, поползла на коленях. Потом встала и так же неуверенно пошла.

Шаг, еще шаг... Она идет. Идет свободно! Больше ничего нет на пути!

Что же это было? Примерещилось? Галя неумело перекрестилась зачем-то и пошла дальше по твердому, укатанному зимнику, в поселок. Только иногда шептала тихонько: «Тьфу ты, нечисть!» — и взмахивала руками, будто отгоняла что-то.

Нечисть тут была ни при чем. Просто прилетал космический межпланетный корабль. Пунктом его отправления была планета Цфаллия. То есть так ее называли цфаллийцы.

В небе над поселком корабль «Эл Цфалла цфаллен эл» («Во славу прекрасной Цфаллии») обозначился классическими приметами: формой он напоминал тарелку, точнее, патиссон, временами нестерпимо блестящий, а то скучно-серый. По контуру перемигивались огоньки, вроде как бортовые сигналы самолета. Но цвет их был каким-то неземным, чуждым, хотя и напоминал фиолетовый.

Все это увидел старик Салов, когда вышел утром из дому: надо было отнести миску с кашей и костями черному псу Катамарану, который по случаю морозов почевал не в будке, а в стогу сена на заднем дворе. Сейчас он как раз вылез оттуда. От него валил пар, и на морозе пес тут же покрывался куржаком. В дом Катамарана даже в самую стужу не брали: боялись, изнежится. Да и то сказать, в стогу поплотно.

Итак, дед Салов вышел на крыльцо, увидел сверкающую летучую штуковину и глазам своим не поверил:

— Язви тя в душу! Диверсанты?!

Да, на обычный самолет это было не похоже, а в летающие тарелки дед не верил. Какие диверсанты, откуда, он не задумывался. Летело что-то чужое, а значит, опасное. Надо было бежать сообщать, но дед знал, что участковый как ушел вчера с утра в тайгу по своим путикам проверить ловушки, так до сих пор не вернулся. Видно, започевал в зимовьюшке. Председатель сельсовета — баба. Все мужики уже уехали на работу: в восемь шел фургон на станцию. Так что... рассчитывай только на себя!

Ослепительный предмет тихо, мягко, без всяких реактивных, шумовых и световых эффектов, начал опускаться. Посадку дед Салов увидеть не мог: крыльцо глядело в противоположную сторону, да и другие дома мешали. Поэтому, отбросив миску с Катамарановым завтраком, он рванул на берег: как был, в домашней, пестрой поверху, мехом внутрь, безрукавке, ватных шта-

нах из джинсовой ткани, подаренной сыном, художником из большого города, в носках, связанных из Катаманановой шерсти, в домашних меховых тапочках с затейливым узором. Не до мороза было деду Салову, совсем не до мороза!

Однако не он все-таки оказался первым свидетелем уникального зрелища — приземления инопланетного космического корабля, а две женщины, которые в тот момент стояли на [illegible] реки. Вернее, просто так стояли [illegible], а другая была занята делом.

Нина Петровна [illegible] она заведовала отделом культуры в [illegible] в этот таежный поселок приехала в [illegible] младшую сестру, всю жизнь работавшую [illegible] прологом. С собой Нина Петровна [illegible], студентку филфака. Двадцатилетняя [illegible] что перенесла стресс очередной сессии [illegible] звольного этим малодушия согласилась поехать с Ниной Петровной. Через полчаса после отправления поезда ей стало скучно, она начала поедом есть себя и маму, и продолжалось это по сей день.

В тот миг, когда над берегом завис «Эл Цфалла цфаллен эл», Алена почти с отвращением смотрела на мать. Приперлись в мороз, в такую рань на лед! Здесь в долине реки, еще холоднее, чем в поселке. Ветер гонит снежную пыль, даже солнце, кажется, не греет, а студит. Вот стоит мать, коленками трясет от холода, вся белая, в инее, будто Дед Мороз!

Нина Петровна и сама уже пожалела, что пришла сюда. Но ей хотелось помочь сестре провести очередные наблюдения. Лариса, впрочем, отговаривала изо всех сил, потому что вчера она уже мерила и уровень, и расход воды, и скорость течения. Единственное, что забыла, это взять пробу на химанализ, но это и завтра, и через неделю можно сделать. Вообще с замерами не горит: только весной да осенью можно ждать сюрпризов

от заторов да зажоров, а зимой река подо льдом дремлет...

Но Нина Петровна уперлась: непременно пойду за пробами! И обязательно с Аленой. Только тогда Лариса поняла, что сестра просто хочет побыть с дочерью вдвоем, поговорить, и отпустила их, не дав ни тяжелого репера, ни вертушки, а только бачок для проб и ломик — лунку долбить.

Нине Петровне было невероятно стыдно своей беспомощности перед дочерью — дело шло неважно. Огромные кожаные рукавицы на морозе тотчас залубенели, лом плясал в них: тюк да тюк, не льдинки — крошки белые отваливались. Совсем отучились руки работать, а ведь когда-то дрова приходилось колоть — и ничего, колола!

А дочь стоит, перемин[illegible] ноги на ногу, молча, с насмешливой злостью, на [illegible] поглядывая. И хоть бы руку протянула ей помочь! [illegible] всегда, всегда! «Ничего, вот закончу и — погов[illegible] с ней!»

Наконец-то полынья расширилась. Нина Петровна разгребала сугроб, где сестра вчера заботливо припрятала большую совковую лопату — слишком тяжело ее носить каждый день туда-сюда, — и начала вычерпывать ледяное крошево. Оно сразу же смерзалось на снегу, образуя причудливую игольчатую горку.

Алена осторожно переступила валенками, отходя подальше. Зябко передернула плечами: «От этого мороза можно просто оглохнуть!»

Нина Петровна разогнулась. Ей уже стало тепло.

Было тихо-тихо. Горбами спускались к реке сопки, утыканные по-зимнему безобразными лиственницами...

Вдруг Алена громко охнула. Нина Петровна взглянула на дочь, глаза которой остекленели от изумления, потом повернулась к берегу — и совковая лопата, выпав из ее рукавиц в лунку, мягко легла на дно реки.

— Это свершилось! — просигналил Командир корабля «Эл Цфалла цфаллен эл» Антловарварвар и на миг, в порыве восторга, перешел было в плазменное состояние, но тут же спохватился, что роняет свое достоинство, и вновь сконцентрировался в своем обычном виде — облачком бурого газа. — Это свершилось!

— И это сделали мы! Мы! Мы! — звонко плескалась в стены рубки, не помня себя от счастья, красавица Мирмирмирлалала, [illegible] голубыми брызгами Командира и старого астронавигатора Дигдигдиглололо.

Тот степенно [illegible] управления и протянул сурово, как и по[illegible]:

— Я разделя[illegible] коллеги, но прошу помнить Закон Ко[illegible]вливать надолго течение чужой жизни. У [illegible] много времени. Выражать свои эмоции [illegible], когда у нас появится Информация и [illegible] Контакт.

— Вы, как всегда, [illegible] и скучны! — обидчиво покрылась пеной очаровательная даже в гневе Мирмирмирлалала и кокетливо перелилась в свой колобообразный скафандр.

Командир заметно побагровел. Он сочувствовал самолюбивой Мирмирмирлалала, но Дигдигдиглололо старше и опытнее. Право же, до сих пор Антловарварвар не понимает, почему не Дигдигдиглололо был назначен Командиром, а он, ничем не примечательный газ. Спасибо Дигдигдиглололо за трезвость, а на суровый тон обижаться не стоит — это вообще в характере коллоидов.

— За дело, дорогой биолог! — ласково окутал он дымкой колбу с Мирмирмирлалала, и, когда оттуда взметнулся игривый фонтан — значит, она не сердится! — Командир приобрел оранжевый оттенок счастья.

Дигдигдиглололо насмешливо заколыхался. Начальный Период Существования! Когда-то и он был таким... Какая стремительность движений и эмоций!

— Сейчас мы попросим «Интоллалала» выдать нам

первую Информацию о планете и образцы биоанализа материи аборигенов, — возбужденно продолжал Командир. — А потом — вперед! Во славу прекрасной Цфаллии!

— Во славу прекрасной Цфаллии! — подхватили остальные, но Дигдигдиглололо не преминул напомнить:

— Не забудьте о защитной зоне и блокировке памяти аборигенов, Командир!

Когда серый корабль опустился, на берегу мгновенно растаял снег, начал трескаться лед на реке, и Нина Петровна, схватив Алену за руку и забыв про утопшую лопатку, тяжелый ломик и бак для проб, кинулась к берегу. Под конец они уже бежали по воде, с трудом передвигая ноги в намокших, тяжелых, как гири, валенках, отчаянно визжа и ничего перед собой не видя от страха. И так, наверное, они мчались бы до самого дома, если бы чьи-то сильные руки не задержали их, а страшный, какой-то неживой голос не произнес властно:

— Остановитесь, Экспонаты!

Алена стала как вкопанная, мигом забыв про страх. Она часто называла экспонатами людей старшего поколения, но сама-то не принадлежала к этой категории. Налицо была явная несправедливость, поэтому следовало разобраться.

Перед ними стояли трое: мужчина толстый, мужчина худой, высокий — и девушка. На них было что-то облегающее и переливающееся, лица холодны и суровы, но толком их Алена не рассмотрела, девушка вдруг повернулась в сторону и изрекла:

— Внимание! Экспонат номер три!

Тут Алена чуть не прыснула: «В самую точку!» Это уж верно, экспонат: дед Салов в своих знаменитых ватных джинсах.

Дальше произошло нечто странное. Дед Салов, который только что стоял на обрыве, вдруг каким-то образом очутился рядом с Ниной Петровной и Аленой у воды, а вокруг них воздвигался серебряно сверкающий купол, отрезав от внешнего мира.

Контакт, столь тщательно разработанный на Цфалии, чуть не сорвался! Кто же мог предвидеть, что у обитателей Планеты Третьего Круга, на которую сел «Эл Цфалла цфаллен эль», пищеварительные органы функционируют только в [illegible] определенной среде?! Ничего от амфибий в них не [illegible], вообще отсутствовала какая-либо приспособ[illegible] (предел примитивизма!). И Дигдигдиглололо [illegible] превосходства подумал, что, конечно же, [illegible] не покорять пространств Космоса. Но [illegible] вспомнил, как задрожал Экспонат № 1, [illegible] выхаясь, издавая нелепые звуки, когда Ми[illegible]ла только приступила к Контакту и, сог[illegible], медленно обтекла, пузырясь от волнения, заключенное в специальную Контактную Ванну тело Экспоната № 1. Хорошо еще, что эта на вид столь легкомысленная особа вовремя сориентировалась и тотчас прервала Контакт! Дигдигдиглололо представил на миг, что могло бы случиться, если бы к Контакту первым приступил он, а не Мирмирмирлалала, и ощутил, что загустел от ужаса. Принести гибель даже самому примитивному Живому Существу — по законам Космоса это карается немедленным расщеплением на элементарные частицы: мучительная и позорная смерть!

Но все хорошо, что хорошо кончается, как утверждало когда-то старое и мудрое Основное Производящее Дигдигдиглололо. Эту истину он усвоил на все оставшееся Существование и старался внушить всем своим Производным. Правда, Мирмирмирлалала от волнения едва не перешла в постоянное парообразное состояние, так что пришлось дать ей время успокоиться и изменить порядок Контактов. Сначала со своим объектом — Эк-

спонатом № 3 — будет работать со всей возможной осторожностью сам Дигдигдиглололо, потом уже к делу приступит Мирмирмирлалала, а после нее — Командир... Конечно, поскольку приходилось оберегать дыхательные отверстия Экспонатов, то Контакт был значительно ослаблен, утратил свою Проникновенность, а «Интоллалала» не успевал расшифровывать данные и несколько раз посылал сигнал: «Затрудняюсь освоить Информацию». А ведь создатели компьютера накануне Экспедиции уверяли, что нет такой Информации, которую он не мог бы освоить...

Контакт № 1. Проводит Дигдигдиглололо. Исследуется Экспонат № 3 Планеты Третьего Круга.

Информация: ...Язви тя в душу! Вскольк*ером* они тут? Видел спервоначалу трех: один мужик худой, как с креста снятый, второй — другого фасона, а третья — баба...

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Экспонат № 3 информирует о формах существования живой материи на Планете Третьего Круга. Остается неясным:

1. Способен ли образец материи под названием «мужик» переходить в образец материи под названием «баба».

2. Возможна ли обратная реакция.

3. Посредством каких промежуточных превращений и при каких условиях осуществляется этот переход.

Информация: ...Ничего баба, хорошая. Я рядом постоял, запах-аромат от нее — хоть форточку открывай. Приятно. Не пойму, чего мне этот запах в голову вбился? Конечное дело, нюх у меня собачий. Помню, как Аграфену впервые увидел — тоже нос насторожил: травой-мятой она пахла. Эх! Когда-то у нее тоже были зеленые глаза, да потом отцвели... Когда ж это было-то? Году в пятнадцатом? Да, только приехали мы сюда

из Орловской губернии. Микишка Черноухов первым землянку вырыл на берегу, выставил по такому случаю ведро самогону и так упоил мужичков, что они сговорились и старостой его выбрать, и даже деревню его именем назвать. Наутро батя, протрезвев...

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Затрудняюсь освоить Информацию.

Информация: ...за голову хвать, а уж поздно — Микишка всем верховодит. Зато батя потом, в тридцать первом, сразу голосовал за колхоз. Намаялись!

Батя помер в восемьдесят два года. Мы с ним ныне одногодки. Я с двадцатым веком на равной ноге. В восемьдесят втором — мне восемьдесят два. В сорок первом — сорок один. В восемнадцатом — восемнадцать...

Ох и неразбериха в те времена творилась! Иные мужики вообще не желали понимать, кто за кого. Вроде те, что в лесах скрываются, одеты поплоше да патронташами перепоясаны, — наши. А кто их знает вообще-то: может, если они и не белые, то и не красные, а какие-нибудь зеленые?

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Предполагаю, что обитателям Планеты Третьего Круга, как и газообразным цфаллийцам, свойственно менять окраску в зависимости от настроения и окружающей обстановки. Но в отличие от цфаллийцев, меняющих только оттенки света, свойственного от Появления, переходы окраски аборигенов носят крайне резкий характер: от белого, минуя промежуточные стадии, к красному; от красного, минуя промежуточные стадии, к зеленому.

Поскольку Информация об иных цветовых колебаниях отсутствует, сделать вывод об эмоциональной нагрузке того или иного цвета трудно. Можно только предположить, что скачкообразность перемен свидетельствует о крайней неуравновешенности, возможно, даже обостренной агрессивности аборигенов.

Примечание: выводы предварительны и приблизительны.

Информация: ...Ну да и свои не церемонились с нами, партизанами. В посевную, уборочную, сенокосную ли страду батя выйдет, бывало, за околицу и кличет сердито: «Гришка, кидай винтарь, косить время приспело!» Ничего, все успели, со всем справились: и с косьбой, и с уборкой, и с япошками, и с российской контрой...

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Выражаю сомнение в целесообразности дальнейшего Контакта с Экспонатом № 3, поскольку его Информация обращена в основном в Прошлое Существование Экспоната, что не соответствует задачам Экспедиции.

Дигдигдиглололо возмущенно разжижился. Реагировать на предупреждения роботам? К чему идет Мир, если машины, созданные Разумом, начинают поучать этот Разум?! Конечно, «Интоллалала» — великолепный компьютер, без которого не обойтись Экспедиции, но, наверное, образец «Интоллалала», доставшийся «Эл Цфалла цфаллен эл», создавали Вода, или Газ, или, того хуже, Плазма. От них всего можно ожидать! Колонд не допустил бы такого...

Но пора продолжить прерванный Контакт. Хотя нельзя утверждать, что Дигдигдиглололо испытывал большое удовлетворение от работы. В какой-то степени «Интоллалала» прав: слишком многое остается неясным. А самое удивительное, что обычно невозмутимый Дигдигдиглололо в процессе Контакта настолько волновался, что постоянно менял консистенцию. От этого он очень утомился, мыслительные сигналы его путались, ему представлялись странные аборигены Планеты Третьего Круга, стремительно меняющие окраску... Однако Дигдигдиглололо все-таки заставил себя продолжить Контакт. И, кажется, напрасно. Все как-то изменилось.

Информация: ...Что это в голову вбилося? Нашел, язви тя, время старое ворошить! Что ж это делается, а? Что они со мной вытворяют? Куда я уклался? В ванне спать вздумал. А вокруг-то сверканье — хоть святых выноси...

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Экспонат № 3 проявляет беспокойство. Настоятельно требую обратить внимание на мое предыдущее предложение.

Информация: Комар [illegible] ухом? Ноет и ноет... Хрястнуть бы его, да [illegible] поднять. Как говорится, кто его убьет, тот [illegible] прольет... А и мамыньки ж мои! Попутал [illegible]. Совсем разум потерял. Всегда ж терп[illegible] надо. А вот, помню, у нас одна бабенка [illegible] на чужих крылечках теряла, так ничего [illegible] и обратно ей приносили...

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Информация Экспоната № 3 становится все более неясной. Затрудняюсь освоить Информацию.

Информация: ...Тьфу, язви тя, думы совсем замусорились. И страх чего-то одолевает. Сердечишко в глотке молотится! Да куда ж меня закинула нелегкая?!

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Продолжение беспокойства Экспоната № 3 может отрицательно сказаться на состоянии материи объекта. Судя по некоторым данным, возможно внезапное произвольное прекращение Контакта — со стороны объекта, что будет означать прекращение Существования Экспоната. Категорически настаиваю на немедленном прекращении Контакта!

Информация: ...А вон и мужик, что на берегу был, толстый, снова откуда-то взялся. Эй, человек — милая душа! Что...

Дальше медлить было нельзя. Следовало вникнуть в беспокойные сигналы компьютера. Дигдигдиглололо,

от разочарования сгущаясь почти до комков, резко прекратил Контакт и принял облик аборигена Планеты Третьего Круга.

Контакт № 2. Проводит Мирмирмирлалала. Исследуется Экспонат № 1 Планеты Третьего Круга.

Информация: ...А-ап-чпи! Чхи! Ой, не могу! Чхи!

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Затрудняюсь освоить Информацию.

Информация: ...Э-э... Пришельцы! Я знаю, я поняла: вы оттуда, со звезд! Собратья по разуму! Хочется верить, что вы поможете нашей прекрасной Земле...

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Получена первая Информация о наименовании Планеты Третьего Круга на языке аборигенов.

Информация: ...Мы обеспокоены и возмущены мировым злом, которое воплощено в коварных замыслах империалистов. Наши мирные инициативы натыкаются на глухую стену враждебности. Неужели там не понимают, что война — это самая большая проблема, разрешить которую человечество обязано во что бы то ни стало? Хотя у него и без войны проблем достаточно. Обиду и боль вызывает бездуховность некоторых людей. Конечно, век, скорость, поток информации, но все же... Как много нам надо исправить в себе! Удивительно, конечно, почему все хорошее в человеке надо взращивать, холить, лелеять, как диковинный цветок, а все дурное, как бурьян, разрастается в любых условиях?

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Нахожу сходство с проблемами, волнующими лучших представителей Цфаллии.

Информация: ...Даже Его душа мне темна. Боже мой, ведь любовь должна быть в радость, но как тяжка мне эта любовь! Так трудно, как будто я несу и его, и себя на руках. А ведь он сроднился со мной, вызнал все тайны моей души, словно воду вычерпал со дна колодца. Ничуть не удивлюсь, если он и меня и всю нашу «лав-

стори», как поется в песенке, вставит в свой очередной роман. Кстати, ему мои стихи не нравятся. Я тоже не могу сказать, что он хороший писатель. Прекрасно понимаю все его недостатки, но не могу без него. Тоска поглощает и прощает все. Пытаюсь переделать его по-своему, но разве переделаешь такого? По-моему, даже прозаик должен быть немного поэтом. А он, например, говорит: «Когда меня [illegible] на прогулку в лес, я предпочитаю взять березовый [illegible] земляничное мыло и пойти в сауну». А [illegible] я должна его переделывать?! Как [illegible], чтобы было наоборот!

Как это ни стр[illegible] когда он уезжает в командировки [illegible], я уверена. Звонит как-то: «Я по [illegible] Давай помолчим». И молчали на ра[illegible] минут пять. Не могу передать, [illegible] в те минуты! И почему-то пре[illegible] первая встреча на семинаре в При[illegible] и в пейзаже было нечто сезанновское [illegible] каменный мост, серый туман, голубые клубы деревьев по берегам узкой, медлительной речки...

Но что это я все о нем да о нем? Ведь больше меня тревожит Алена. Как случилось, что мое самое родное существо стало мне самым чужим? Что-то вроде инопланетянки: с ее белыми волосами, синими ресницами, зеленоватыми веками, коричневыми губами, потусторонне-исхудавшим телом, нездешним выражением лица, а главное — с ее мыслями... Что дома, что здесь — ведет себя с вызывающим презрением к тихому укладу деревенской жизни, к работе Ларисы: «А воду в лужах вы на тухлость не проверяете?»; наконец ко мне, за то, что я нахожу явное удовольствие в тишине, пулеметной трескотне схваченных морозом дров, когда Лариса по утрам растапливает печку, а в ногах постели сонно мурлычит толстый, теплый, уютный котище, а главное — в том, что здесь стихи без времени приходят... Навер-

ное — конечно, конечно! — я виновата; всегда была слишком занята своим внутренним миром, а до нее — не было дела. Вот и не знаю теперь его абсолютно, и кажется, что его вовсе нет. Сколько у нее еще впереди! Так хочется предостеречь, образумить, оградить...

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Вечная проблема Производящих и Производных!

Информация: ...О чем я, боже мой! Мне доверена судьбой такая миссия, а я — все о себе, о нем, об Алене. Какое им, Пришельцам, дело до всего этого, если нам самим нет друг до друга дела. Пришельцы! Если вам дороги... Ой, опять та девушка!

Из сигналов, выданных «Интоллалала»:

Поскольку мой аналитический аппарат ослаблен предыдущим Контактом, а Информации в ходе Контакта № 2 уже получено большое количество, то на ее обработку потребуется целый комплекс «Интоллалала» разных степеней сложности, что возможно только в стационарных условиях Главного Вычислительного Центра Цфаллии.

Мирмирмирлалала, капая от огорчения на пол передвижной Каюты Контактов, нехотя прекратила Контакт и приняла облик аборигенки Планеты Третьего Круга.

Контакт № 3. Проводит Антловарварвар. Исследуется Экспонат № 2 Планеты Третьего Круга.

Информация: ...Куда это меня заткнули? Неужели в самом деле Пришельцы нас изволили посетить? Мамаша спит и видит, как бы с ними общнуться. Думает, они нам сразу все наши проблемы разрешат. Делать им больше нечего! Но она-то вообще космосом и фантастикой бредит. Когда космонавтов показывают, от телека не отходит. А что оттуда видно, из космоса-то? Прыщи вулканов на большом лице Земли? И все.

Точно, Пришельцы!! Что им от нас надо, интересно?

Поток информации? Но какие из нас информаторы! Дед Салов наверняка помирает со страху, маманя решает мировые проблемы, а я... я ведь никак не гожусь в типичные представители современной молодежи. Например, читаю мало. Маманя на эту тему все время стонет. Как же так, учишься на филфаке, ах, ах! Ну, по программе, предположим, я все читаю. На то он и необходимый минимум. А все остальное, значит, не необходимый максимум. А сейчас даже мода снова ориентируется на мини, так что сокращать программу сам бог велел. К тому же [illegible] литературы и Шекспира все остальное [illegible]. Читаешь — и заранее знаешь, чем [illegible]. Хотя, может, это я одна такая догадливая? [illegible], пусть читают.

Какой-то [illegible] лезет... Не помереть бы тут на благо [illegible]!

Нет, все [illegible] надо? Неужто завоевывать нас [illegible]?

А тот [illegible] вместо себя. Впрочем, пусть идет с миром. [illegible], Прошелец, бог знает, какая у них там [illegible], а во-вторых, наверняка женатик. А я с ним [illegible] он тебя к светлой жизни поведет, а потом, в самый ответственный момент, у него отцовские чувства взыграют — и он опять со своим семейством в кино ходит, а ты слезы утирай.

Нет, надоело мне в этой ванне колыхаться. А вдруг вот так усыпят, а потом проснешься где-нибудь в другом измерении? Оставьте вы меня в покое, я в героини не гожусь. Наверное, я плохой потомок. Недостойна всяких там традиций...

А вообще — что слава! Яркая заплата! Все наши герои тоже небось думали: мы тут за потомков кровью, жилы рвем, так они нам памятники нерукотворные воздвигнут, дороги цветами усеют... Ну, памятников у нас хватает, и речей тоже, но в остальном на потомках где сядешь, там и слезешь. Во всех магазинах висят таблички: «Ветераны войны обслуживаются вне

очереди», а я раз сама видела: какой-то одуванчик с орденскими колодками попробовал внедриться, так бабы в очереди визг подняли. А сами все в злате-серебре. Этот дед, может, из-за войны все потерял, а им для него колбасы жалко. Но я не связывалась — облают, только и всего.

А вообще-то, Пришельцы, если хотите знать, я из тех дур, которые втихаря хотели бы верить в идеалы. Только об этом никто и никогда не узнает. Строго между нами! А то затрут все мои идеалы словами. Девальвация называется. Даже маме не скажу. Она уж, извините, давно в возрасте элегантности, а все душу наизнанку при народе выворачивает. Если уж писать, то прозу: автор за нее спрятаться может. А поэт — вот он весь. Хорошо Пушкину - он уже лет сто пятьдесят, как помер. А моя поэтесса по улицам среди своих читателей ходит. Они из ее стихов и про ее детство знают, и про первую любовь, и про все остальные любви, и про меня, какая я у нее неподдающаяся. А мне, может, и не надо, чтобы про меня все знали. Все равно мысль изреченная есть ложь, так что лучше молчать. Дело в том, что я еще не знаю, как идеалы сочетать со всякими материальными потребностями. Увы. Они у меня есть. Только не знаю, чего больше — потребностей или идеалов. Может ли все это мирно уживаться? Вы не знаете, Пришельцы?

Интересно вообще-то, долго это безобразие будет продолжаться? Стоп, опять этот длинный откуда-то взялся. Спрошу-ка я его...

«Интоллалала» не издал ни одного сигнала за все время этого Контакта. Он только непрерывно гудел и перемигивался всеми индикаторами. Похоже было, что он старательно перерабатывает Информацию, как вдруг раздался короткий резкий треск, и все погасло. Антловарварвар понял, что «Интоллалала» вышел из строя.

Это была катастрофа, которая означала немедленное прекращение всех Контактов и возвращение на Цфаллию, потому что без компьютерной системы «Интоллалала» корабль был практически беспомощен при возможной агрессии со стороны аборигенов, лишался четко наведенного защитного поля и в космосе. Увидев, что «Интоллалала» прекратил работу, Антловарварвар почувствовал себя так, словно одновременно находился в плазменном и газообразном состоянии. Он резко прервал Контакт и при[illegible] облик аборигена Планеты Третьего Круга.

Реку снова [illegible] торосами развалившийся был [illegible]

Дед Салов сандалил нос и ошеломленно водил глазами по [illegible] не успеть, — терзался он. — На[illegible] старому. А сейчас что? Поймают, [illegible] По-хорошему, их бы на станцию [illegible], в отделение...»

Нина Петровна [illegible] «Ну почему, почему они должны были сесть именно здесь?! Хотя бы в краевом центре приземлились бы! Там наверняка нашлись бы подготовленные товарищи. А то какой прок от такой встречи нам — и им? Я тоже хороша — о чем думала, о чем?! Какое впечатление произвела на них Земля!..»

Алена старалась ни о чем не думать. Плакать хотелось, а почему, спрашивается?

Галя Филимонова, которая как раз дошла до поселка, посмотрела на этих троих с обрыва и страшно обрадовалась: сейчас она им расскажет, что случилось в дороге! Бросилась было вниз, но в этот миг сработало защитное поле и начисто стерло память о происшедшем и у нее, и у трех «экспонатов». В сущности, Контанкт занял считанные минуты по земному времени, а о том, что длилось считанные минуты, забыть не

так уж сложно. Галя Филимонова поскользнулась, остановилась, недоумевающе пожала плечами: «Что это я?» — и пошла дальше в поселок.

Мирмирмирлалала притихла в своей колбе. Дигдигдиглололо выжидательно собрался в крошечную лужицу на пульте управления. Антловарварвар один из всех еще остался в облике аборигена. Надо было готовить корабль к старту, а он медлил.

Контакт, конечно, сорван. Информация есть, а Контакта нет. Впрочем, может быть, другие корабли Экспедиции вернутся на Цфаллию с удачей. А им... ну что же делать, не разлагаться же на элементы от огорчения! Тем более что еще неизвестно, о чем он, Антловарварвар, больше сожалеет: что сорван Большой Контакт или что он сам не доверился своего Контакта. Может быть, если бы можно было его продолжить, оставаясь в облике аборигена, и не на корабле, не под защитным колпаком, а там, где постоянно обитает Экспонат-2... Но Экипаж этого не одобрил бы. Где им понять!..

Нет, такие размышления не подобают истинному цфаллийцу. Антловарварвар рывком принял свое обычное состояние. Неудачи надо встречать спокойно. К тому же время пребывания на Планете Третьего Круга — Земле — все равно истекло. А жаль.

Дигдигдиглололо со свойственной ему неторопливостью вытекал из рубки. Бледно-розовый вид Антловарварвара вызвал у него сильнейшее раздражение всех составных частиц. Он посоветовал:

— Верните себе бодрость, Командир!

Антловарварвар мрачно просигналил в ответ что-то длинное и неразборчивое и послал команду пульту. Он даже не позаботился, привел ли себя Экипаж в предстартовое состояние!

Мирмирмирлалала поспешно всплеснулась, хотя и была обижена пренебрежением Командира к себе. «Они,

эти газы, все такие!» И вдруг вспомнила почему-то, как смотрела на нее аборигенка, Контакт с которой она осуществляла. Будто чего-то от нее ждала, на что-то надеялась! Вот странно... Значит, они тоже чего-то хотят, чего-то ждут от жизни, эти аборигены? Пусть они выглядят абсурдно и не переходят в парообразное состояние от волнения, но, может быть, и Контакт — это что-то совсем другое? Вовсе не сигналы «Интоллалала», а просто взаимные сигналы? Ты сигналишь аборигену, а он тебе сигналит. Потом он сигналит, отвечаешь ты... Вместе!

Она с трудом [illegible] брыки. С кем тут поделиться своей тревогой, своим открытием? С грубияном Антловарварваром? [illegible] Дигдигдиглололо? Они не поймут, никогда не поймут!

Дигдигдиг[illegible]во застыл у выхода из рубки. Такие эмоциональные взрывы, бурные реакции уже не для [illegible], в Начальном Периоде Существования [illegible] — более быстротекучим. Как где научились спор[illegible] или затевается новое путешествие — туда сразу же со всей возможной стремительностью вливался Дигдигдиглололо. И разжиться от неумеренных скоростей не боялся. Что и говорить, хороший был Период. Но все истекает, все сгущается. Иной раз так хочется обменяться по этому поводу сигналами. А с кем? С этим недоконденсированным Антловарварваром? Или с изменчивой, непостоянной в эмоциях Мирмирмирлалала? Смешно и грустно! Они еще не знают, сколь тягостна и в то же время радостна Память о прошедшем Существовании. Понять состояние Дигдигдиглололо мог бы только такой же сгустившийся, много испытавший коллоид. Вот Экспонат № 3 — из таких. Правда, он не коллоид, но, в сущности, какое это имеет значение для общения?

БЕРЕЗА, БЕЛАЯ ЛИСИЦА

Светлой памяти
Ивана Антоновича Ефремова

Гуров брел по лиловому песку, который с сухим, еле уловимым скрежетом сдавливался под ногами, а потом вновь становился гладким, только кое-где бугрились заложенные вековыми ветрами складки. На этом песке следов человека не оставалось. Словно Гуров — некое бестелесное существо. Может быть, и он уже умер, как остальные? А вдруг Аверьянов и Лапушкин, вернее, их призраки, невесомо и неслышно бредут поодаль? Но никого не было, и Гуров унял дрожь, отнял руку ото рта... Потом, постепенно, он привык к необычайной упругости песка, уже не искал вокруг призраков и только иногда с мрачным презрением думал: «Было бы куда лучше, парень, если бы ты не так крепко зажимал себе рот!»

Они, можно сказать, сами себе вырыли могилу. Разве нельзя было сесть на другом спутнике этого блеклого солнца, которое сейчас как ни в чем не бывало смотрит на Гурова, поливая его жарким, но в то же время словно бы холодным, равнодушным светом? Будто чья-то злая воля направила корабль именно сюда — злая воля, а не авария. Как же они, недотепы, радовались, когда оказалось, что на этой «благословенной» планетке воздух почти такой же, как на Земле!..

Посиневшие, [illegible], они выползли из покореженного, чу[illegible] корабля, и долго лежали на твердом фиол[illegible] в силах не то что подняться, но и слова молвить. Это отсрочило смерть двоим из них..

Первым [illegible] Аверьянов. Он вообще был покрепче дру[illegible] шутник. Глубоко, расправляя [illegible] направился к «Волопасу» (так [illegible] корабль), а через несколько минут появился [illegible] от кресла, наспех споротую и при[illegible] под ней импровизированный мешок, в котором угадывались очертания консервных упаковок. Глотнув воздуха, особенного чудесного после прогорклой атмосферы «Волопаса», позвал — совсем негромко, но этого было достаточно, чтобы друзья его услышали, и еще кое для чего хватило этой коротенькой шутливой фразы, сказанной хриплым, измученным голосом:

— Подзакусим, братва!..

Воздух будто подожгли. Сгустилось дрожащее марево. Почва дрогнула. Очертания фигуры Аверьянова мутнели, плавились. Он будто проваливался в преисподнюю, будто всасывался воронкою. И еще какое-то время после того, как в зыбкой мути растворился Денис, перед Гуровым маячило его растерянное лицо. А потом разомлевший воздух вновь стал прозрачен и

холодел, а вершины дальних гор обрели прежние чеканные очертания.

Кто угодно закричал бы тут в ужасе и отчаянии. Кто угодно — только не Гуров и не Лапушкин. В косморазведке нервных не держали. Анализировать неожиданности они могли не хуже компьютера. И теперь возник мгновенный ответ: все было нормально до того, как раздался голос Дениса. Едва ли смысл слов оказался роковым «сезамом», открывающим двери катастрофы. Значит, дело в самом звуке. В голосе.

Да, нервных в косморазведке не держали. И все-таки они не могли заставить себя переступить то место, где исчез Денис, пройти по его невидимому пеплу. «Волопас», почти дом родной, смотрел отчужденно. И они поняли, что сейчас лучше уйти отсюда.

Фиолетовое пятно пустыни скоро сменилось оазисом. Невысокая, мягкая бурая трава покрывала песок. Поднимались развесистые деревья с тусклой корой бордового оттенка и лимонно-желтыми узкими листьями. Длиннохвостые и длинноклювые птицы пели низкими, мелодичными, словно бы металлическими голосами, почти заглушая сладостные и вполне земные звуки — журчание ручья...

Трудно, даже оскорбительно было смириться с тем, что голос человека на этой планете для него смертелен. Ведь все здесь жило, двигалось, радовалось жизни хором сочных звуков, которые Гуров и Лапушкин в полной мере почувствовали, ощутили, услышали только тогда, когда оказались обреченными на немоту, бывшую здесь для них залогом жизни.

В тот первый день они исписали бы огромное количество бумаги, будь она у них. Жестами переговариваться было нелегко, потому что так и готов был

вырваться какой-то поясняющий звук: ведь, кроме движений и направлений, Гуров и Лапушкин мало что могли обозначить, а выражать жестами эмоции было смешно и стыдно.

Только теперь Гуров понял, какое это счастье — говорить, какая это ценность — дар речи, дар слова. Он ощущал себя художником, лишенным зрения, музыкантом, утратившим слух, рыбой, которая не может плавать... Невысказанное копилось в мозгу, переполняло гортань до удушья и, готовое сорваться с языка, жгло рот. Очевидно, Лапушкин ощущал то же самое, потому что его смуглое лицо выражало постоянное напряж[illegible] [illegible]чило, словно бы усохло, черты обострились.

Поче[illegible] [illegible]го не уходили из оазиса, хотя на горизо[illegible] [illegible] очертания большого леса, откуда изредка [illegible] [illegible]ие, горьковатые запахи прохлады и [illegible] К «Волопасу» ноги не несли. Здесь, в [illegible] [illegible] еду. На деревьях под листьями пря[illegible] [illegible]ние, с кулачок ребенка, плоды, с виду у[illegible] похожие на ананасики. Спелые были кисло-сладкими, но не приторными, хорошо утоляли жажду. Кроме того, тут была вода, а в лесу неизвестно что их ждет.

Но терпения сидеть на месте хватило только на сутки. А как они провели ночь... Спать легли как можно дальше друг от друга, даже по разным берегам ручья, мало ли — вдруг кто-то застонет или закричит во сне. А механизм катастроф, очевидно, строго локален, так что погибни один из них — другой останется жив.

Гуров долго не смыкал глаз: больше всего ему хотелось бы уснуть, слыша рядом спокойное дыхание другого человека, оберегая его — и одновременно оберегаясь им. Он не заметил, когда забылся, но вскоре проснулся оттого, что его плеча что-то коснулось.

Гуров вскинулся, едва не крикнув, но тут же Лапушкин зажал ему рот ладонью. Александр, еле разли-

чимый в темноте, погрозил, напоминая о молчании, а потом, улегшись рядом, повернулся на бок, лицом к Гурову. Очевидно, и ему стало невмоготу в одиночестве. Тогда Гуров немного успокоился и вскоре крепко заснул до утра.

Добраться до леса оказалось не просто. Стоял разгар того времени, которое на Земле называется летом, а здесь Гуров окрестил эту пору «паршивой жарой». Обливаясь потом, Гуров и Лапушкин больше трех часов месили ногами фиолетовый песок, а лес по-прежнему оставался далеким. Гуров уже начал было опасаться, что это не более чем мираж, когда вдруг начался бурый кочкарник, по которому идти оказалось легче. А там и лес ощутимо приблизился, нагрянул, надвинулся и расступился.

Лимоннолиственные деревья давали узорчатую тень. Разогретые солнцем стволы обильно сочились горько пахнущей смолой. Деревья кругом были одной породы и все оказались густо усыпанными ананасиками, так что зря, выходит, Гуров и Лапушкин запаслись ими. Можно набрать этой вегетарианской пищи и через некоторое время все же вернуться к «Волопасу». Ракета, конечно, безнадежно повреждена, но вдруг еще цел радиомаяк, можно вытащить шлюп-разведчик и облететь планету в поисках местной цивилизации. Вдруг да повезет?! Вдруг да отыщутся какие-нибудь заваляшенькие собратья по разуму, а то и не совсем заваляшенькие: с развитой цивилизацией и готовыми к употреблению космическими кораблями... Только бы вернуться на Землю! Космос, который в течение всех пяти лет работы в нем казался Гурову полным неисчерпаемых тайн, вдруг сделался тошнотворно-однообразным, сконцентрировавшись в этих бурых травах и лимонно-желтых листьях. Тайны космоса и его безграничность, оказывается, имели смысл лишь постольку,

поскольку на своем более или менее определенном месте в этом космосе поскрипывала вокруг собственной оси старушка Земля и всегда оставалась перспектива возвращения на нее. Без этого космос оказался ненужным.

Гуров очнулся от дум, поднял голову. Перед ним лежала небольшая полянка. Он помедлил и шагнул на нее. Гуров сейчас был рад, что Лапушкин отстал и бредет поодаль, задумчиво касаясь стволов, липких от смолы. Может быть, в тишине таится опасность... Но все вокруг дыш[illegible] [illegible]. Трава доходила до щиколоток и никак[illegible] [illegible]жется, не представляла

Гуров на[illegible] [illegible] рассмотреть цветок с прозрачными, т[illegible] [illegible]ками, и в это время

— Бер[illegible]

Он уж[illegible] [illegible], вернее, приучил себя к тому, что [illegible] не может, не должен звучать [illegible] [illegible] сразу воспринял крик Лапушкина [illegible], что означает этот крик. Но трениров[illegible] [illegible] готовое к опасности тело отреагирова[illegible] [illegible] [illegible]тро. Гуров прыгнул вперед, перевернулся в [illegible] [illegible] заключив окрестности в кольцо [illegible].

Никаких [illegible] чудовищ он не увидел. Трава на полянке по-прежнему мягко колыхалась. Но Гуров, падая в эту траву, успел поймать взглядом, как медленно и бесшумно тает меж деревьев силуэт Лапушкина, и долго, долго, казалось, плавал в воздухе его прощальный взмах.

Дни и ночи он размышлял над загадкою гибели друзей. Чтобы проверить одно свое предположение, вынул из кармана куртки коробочку кают-диктофона, положил на землю, отошел на двенадцать шагов и задействовал звук. Собственный голос показался ему чем-то диковинным, но ничего *такого* не произошло. Значит,

здешняя нежить предпочитает живую добычу. Однако же существует, черт побери, какая-то разгадка! И он начал по привычке перебирать в уме первые попавшиеся слова, надеясь зацепиться за любое звено, что вызволит его из беды. Этою игрою с самим собою он прозанимался два дня, пока, наконец, после слов «фонарь» и «метеор» не всплыло в памяти — «Афансор». Афансор—дочь Ахархеллена. Вождя туарегов из рассказа великого Ивана Ефремова. Постой, постой, не в этом ли превосходном рассказе шла речь о том, что в некоторых местах Сахары обитают духи молчания? Точнее, духи встревоженного молчания — джаддиасы? Гуров старательно припоминал курс «Фантастики в искусстве», которому в Академии уделялось — на удивление и развлечение курсантам — весьма серьезное внимание. Вот когда пригодилось все это! Духи встревоженного молчания... Или о них есть у Гаудио в «Цивилизациях Сахары»? Или в путевых записках Елисеева из «Живой Старины»? Помнится, сам Ефремов описал в рассказе этого замечательного путешественника далекого прошлого, туареги величали его Эль-Иссей-Эф. Как бы то ни было, джаддиасы перелетели, видимо, сюда. В Сахаре, как и здесь, их можно было задобрить лишь молчанием: скажешь слово — и тебя затягивает воронка песка...

Гуров тогда долго не мог идти. Кровавые волны застилали глаза. Больше всего ему хотелось выругаться, страшно выругаться, проклять Лапушкина, который совершил такое страшное предательство, бросил его одного — одного в целом свете! Он уже открыл было рот и промолчал. И повернулся, и пошел прочь, не разбирая дороги. И еще много, много дней он провел, физически ощущая необходимость молчания, как тонущий ощущает камень, привязанный к шее.

Даже во сне преследовало Гурова это чувство. Ему

снились люди. Их было много. Они куда-то уходили. Гуров видел их сзади. Развевались женские платья, летели по ветру волосы. Мужчины двигались неторопливо, поводя широкими плечами. Гуров узнавал среди них Аверьянова, Лапушкина... Рядом с ними бежали дети, мелькая загорелыми ножками... Гуров слышал удаляющийся шум голосов и бросался вслед за людьми. Нет, его не мучила бесплодная, бесконечная погоня — кошмар многих сновидений. Шаги его были быстрее и даже легче, чем наяву. И он нагонял людей. Молча хватал их за руки, за плечи, рывком поворачивал к себе одного, другого... И отшатывался — у людей не было лиц. Плоский белый туман струился на их месте. Безглазый, безликий, молчаливый туман! Люди отворачивались, как и в чем не бывало продолжали свой путь, маня реальностью очертаний тел. Гуров смотрел им вслед, корчась от горя. Он мог бы вернуть лица этим людям, вернуть людей себе, если бы крикнул, позвал! Но и во сне он не мог решиться на это.

А потом он все-таки вернулся к кораблю.

Напряженный даже в состоянии покоя корпус «Волопаса» одиноко торчал в фиолетовой пустыне. Его длинная тень перекрещивалась с тенью корявого дерева, росшего неподалеку. Это оказалось первое дерево вне оазиса, вне леса, которое видел Гуров. В нем было что-то странное. Тогда, в момент гибели Аверьянова, Гурову было, конечно, не до местной флоры, а теперь он смотрел и смотрел, пока не сообразил, что дерево непривычной породы. Не лимонолиственный ананасик, а что-то вроде... дуба. Узорчатая от трещин кора, основательная кряжистость осанки, медного цвета листья... Повинуясь непзъяснимой благодарности за то, что видит дерево, столь похожее на земное, Гуров погладил его ствол. И тут же отпрянул, искривив рот. Рука прошла сквозь ствол. То был оптический обман. Мираж-

дерево. Хорошо сконструированный мираж. Это лжедерево... оно дитя этой планеты. Их могилы. Лжедерево на настоящей могиле. Отмахнувшись от шелеста рыжих листьев, Гуров забрался в корабль.

Когда он вышел оттуда, он был другим человеком. Да, одиночество само по себе жестокий и сильный воин. Но он становится вдвое непобедим и коварен в союзе с безнадежностью. Вооруженное этим мечом одиночество подступило к Гурову.

Наступив на тень дуба, а потом, сжав зубы, пройдя сквозь дуб, Гуров побрел прочь от «Волопаса». Он нес на плече что-то вроде узла — все, что осталось от личных вещей его, Аверьянова и Лапушкина, несколько упаковок с едой. Это был не тяжелый груз. Куда тяжелее — груз сознания: нет больше ни радиомаяка, ни корабля-разведчика. Если бы они не сели на эту смертоносную планетку, они все равно погибли бы: на корабле произошел взрыв. Гуров не стал копаться в системах, доискиваясь до причин. Кому это теперь нужно? Он решил покориться судьбе. Смотри-ка, сколько старых, полузабытых слов и понятий обновил он для себя за то недолгое время, что пробыл на молчаливой планете. Он узнал цену словам: «отчаяние», «жизнь», «надежда». Теперь вот — «судьба». Но неужели кем-то где-то было предопределено, что его, Гурова, прошедшего по служебной лестнице, ставшего в тридцать с небольшим командиром взвода разведки, имеющего блестящие перспективы, — что его настигнут безвестность, безысходность, неопределенность в глубине космоса, на жалкой планетке, подобных которой он будто бы видел-перевидел! Раньше-то Мирослав Гуров и знать не знал, что такое страх. Ведь при самом опасном шаге его всегда оберегали товарищи, за каждым движением следили с «Волопаса», за «Волопасом» — с эскадренного вожатого, за вожатым — из Управления косморазведки... И в любом районе космоса, считал он, не опаснее, чем на Земле. А если где-то что-то

случалось, то не с ним же, не с его «Волопасом», не с его экипажем. Все было предусмотрено, безупречно отработано, выверено — главное, точно выполнить приказ, Инструкцию — и успех тебе гарантирован.

Да, но... Может быть, в этом и дело? В отработанности, в Инструкции? Ведь когда косморазведка шла на обследование той или иной планеты, первыми на ее почву ступали все-таки роботы. Они наводняли округу приборами, которые передавали в Управление максимум информации о том, с чем здесь столкнутся все пять чувств человека, каким воздействиям подвергнется на новой планете его скафандр—буквально на сколько сантиметров погрузится в песок его тяжелый башмак! Все это обрабатывалось в Управлении — и компьютеры выдавали Инструкцию, так что, строго говоря, задача [illegible] состояла только в том, чтобы, [illegible] исполняя все положения Инструкции, проверить ее на месте. Инструкция не ошибалась почти никогда, и неприятности случались только с теми, кто отступал от нее. Но и на этот случай существовала своя Инструкция — для тех, кто будет спасать отступивших от кодекса. В сущности, каждый шаг косморазведчика был предусмотрен. И, наверное, какой-нибудь Инструкцией было предусмотрено, что если с кораблем происходит нечто вроде аварии, происшедшей с «Волопасом», его можно вычеркивать из списков флота косморазведки: корабль и его экипаж просто обязаны перестать существовать. Да, двое все-таки погибли. И Лапушкин...

При воспоминании о Лапушкине Гуров терялся. Как он мог, как он все-таки мог?! Испугался неизвестности и выбрал смерть, оказавшись в этом слабее Гурова? Или... сильнее? Но почему он крикнул: «Берегись!» Разве мог Лапушкин знать, какое слово станет последним в его жизни... Но от чего он предостерег? От какой опасности? О, если бы так! Но ведь за все время пребывания здесь Гуров не встретил никакой

опасности — явной, разумеется. А вдруг Лапушкину она померещилась?

Почему, ну почему?.. Он мог бы ответить на этот вопрос, если бы получше знал Сашу. Уж, казалось бы, постоянный риск должен был не только сплотить их, но сделать близкими людьми. Нет... они просто притерлись друг к другу, как части отлично отлаженного механизма, оставаясь при этом все-таки самостоятельными личностями. Тайники их душ были закрыты друг от друга. В этом Гуров еще раз с горечью убедился, когда начал рассматривать, что же унес из корабля, что же ему оставили друзья в наследство. Вот оберег Аверьянова: сувенир с Длугалаги, крошечная статуэтка ее обитательницы, космической путешественницы, — золотистый каплевидный камешек, слабо светящийся во мраке. Вот граненый стакан: прочитав в каком-то ветхом фантастическом романе о космонавте, бравшем с собою в далекие миры этот предмет, почему-то бывший для него символом Земли, шутник Денис заказал себе небьющуюся копию стеклянных стаканов древности. Вот карманный диапроектор: семья Лапушкина, виды его родного Красноярска... Все трое заканчивали Восточносибирскую академию косморазведки, знали друг друга с первого курса, и все-таки Гуров не мог угадать, кому из его друзей было адресовано *то* письмо. Листок бумаги был вставлен меж полос пластика: видно, письмо хотели сберечь от времени. Под слоем пластика строчки казались выпуклыми, живыми, говорящими. Боже мой, как давно Гуров не видел таких писем! Давно. Теперь мало кто увлекался этим архаическим делом — телесвязь достигла совершенства. Ему пришлось сделать некоторое усилие, чтобы сосредоточиться на чтении. Перед глазами словно бы туман сгустился. Но вот он различил одну фразу — и уже не смог оторваться. Это был почти конец письма, но потом, снова и снова перечитывая его, Гуров всегда начинал именно отсюда: *«Береза, белая лисица!»*

Когда он находил взглядом эти слова, глаза его на какое-то время жмурились, словно от внезапного светового удара. Даже мольбы и жалобы покинутой женщины не трогали его так, как эти три слова. Гуров смутно чувствовал, что и для того, кому предназначалось это письмо, они значили очень многое, были как бы своеобразным паролем, открывающим путь в прошлое, в мир воспоминаний. Как будто, написав и вдобавок дважды подчеркнув эти слова, женщина хотела заклясть, вернуть любимого. Она с безжалостной настойчивостью пыталась воскресить в его памяти не сцены любви, а картины природы:

«...Неужели ты не понимаешь, что для меня ты теперь все равно что умер? Ты жив — а мертв. Но ведь мертва для [illegible] Но мне все-таки легче, я могу прийти туда, [illegible] мы бывали вместе, и оставить там цветы, как на [illegible] Какое множество могил...

А помнишь, как мы уплыли на лодке за косу и там ждали закат? Помнишь? Темнело медленно-медленно, и вода в Обимуре была медлительная, похожая на переливчатую ткань: то смутно-серую, то жемчужно-розовую, с ослепительной золотой полосой, дрожащей там, где в волнистых облаках тонуло солнце. Потом оно село, краски тотчас поблекли, угасли, ночь будто упала на землю.

Помнишь, Обимур касался берега, медленно шуршали волны. Мы лежали на песке, смотрели в костер, то и дело терзая его длинной ивовой веткой, и тогда щедро летели искры. И мы говорили о том, что раньше ни мне, ни тебе не приходилось почему-то смотреть на костер вот так, снизу, и мы не знали, что отсюда искры кажутся похожими на змейки: огненно-верткое тело и головка-вспышка. Вырывались из костра, на миг затмевая первые звезды, но тут же исчезали, а звезды бесконечно лили свой бледный свет.

Что я пишу? Что пишу?.. Но неужели ты забудешь... Помнишь, как летом мы ездили в тайгу? И как пахла разогретая солнцем трава, и на просеке жгло спину, а земля была еще сырая после дождя и парила? И тебе показалось, будто что-то мелькнуло в чаще, словно пробежало, и мы пошли туда, а оказалось, что это стая берез, и стволы у берез были до того белые, что нельзя было их погладить, не забелив ладоней. И ты сказал: «Береза, белая лисица...» Любимый мой!..»

Гуров столько раз прочел это письмо, что не просто выучил его наизусть — иногда казалось, что это написано для него. И самообман был приятен. Легче будто бы становилось. И Гуров впервые в жизни задумался над тем, что о его гибели пожалеет, наверное, только командир отряда косморазведки, утративший хорошего взводного. Родителей Гуров не помнил: погибли при аварии. Не по наследству ли досталась ему гибель его?.. С двух лет он воспитывался в детском доме для детей погибших космонавтов, со всеми был в добрых отношениях всю жизнь, как и подобало человеку, но ни там, ни в отряде ни с кем особенно близко не сходился. И хотя за пять лет работы в космосе не раз рисковал жизнью, выручая товарищей, и его выручали, конечно, не задумываясь, но задушевных друзей у него все-таки не было. Что риск? Профессиональная привычка. Как и привычка быть смелым, честным, самоотверженным, добрым... Привычка, но не потребность вдруг проявить эти высокие качества по отношению к единственному для тебя другу: мужчине или женщине.

К женщине!.. Когда, поддаваясь сладкому самообману, Гуров разрешал себе поверить, что это письмо написано для него, он пытался вообразить и ту, которая могла такое написать. Выбирал из множества своих прежних подруг одну. Но все они, в хороводе лиц,

причесок, характеров, сливались в его памяти, уже не различаясь ни выражением глаз, ни тембром голоса, ни складом ума, ни тем более фасоном платья.

Да, но никто из этих очаровательных женщин не стал бы напоминать ему о днях любви, описывая не ласки, а природу. За это уж Гуров мог бы поручиться! Да и сам он не мог вспомнить о Земле ничего такого, как ни пытался. Вот рассказать о бродячих цветах с Планеты Ошибок мог бы. Или о ворчливых деревьях с Планеты Юхансона. Или о летучих рыбках с Восьмой планеты созвездия Осьминога: в полете эти рыбки меняли окраску, линяли — осыпавшаяся чешуя их, коснувшись воды, превращалась в новых рыбок, а прежние, сделавшись на воздухе из золотистых угольно-черными, умирали, дав таким удивительным образом жизнь своему столь же недолговечному потомству.

О многих чудесах космоса мог бы рассказать Гуров, но заставь его описать земной цветок... реку... дерево... Березу! Он напрягал память, бесился от бессилия, но, кроме общих и невыразительных слов, не находил ничего. А ведь тысячи, тысячи раз видел все это! Но разве он обращал когда-нибудь внимание на запах травы? На деревья? Они растут, обогащают воздух кислородом, все эти деревья и травы, но какая разница — они или кислородные генераторы? Какая разница — они или воздушные тенты дадут тень, прикроют от жаркого солнца?.. Гуров ловил себя на том, что уже давно удивляется только новому, поражающему воображение. Но и это, став привычным, тотчас смазывается в его памяти более новыми впечатлениями, сливается с прежним, обыденным. И разве только о картинах природы он может это сказать? А острота чувств? Любовь?.. Была ли она хоть когда-нибудь? Вот и здесь — притупился даже страх смерти. Привычка! Боль одиночества? Стихает и она. И ему приходилось много, много раз воскрешать в себе эту боль — последнее, что, смутно чувствовал Гуров, еще удерживает его, за-

ставляет оставаться человеком. И как раньше он искал тупого забвения, так теперь бередил душу, тоску по людям, по погибшим товарищам, одному из которых предназначались эти волшебные слова: «Береза, белая лисица».

Конечно, он снова и снова мечтал о спасении. Гуров иной раз до такой степени реальности видел возникающий в небесах и снижающийся земной корабль, что замирал столбом и ошалело пялился вверх, являя собой, должно быть, прелюбопытное зрелище. Правда, за ним некому было наблюдать... Но, рассуждал он сам с собою, если занесло сюда в свое время «Волопас», то вполне может занести еще кого-нибудь. И тогда задача Гурова будет состоять только в том, чтобы вовремя остеречь спасителей от разговоров на планете. А как это сделать, кстати?

Первое, что пришло на ум, было: обойти наиболее подходящие для посадки ракеты места и там, на камнях, на деревьях, прямо на земле выбить, выжечь предостерегающие слова. И Гуров взялся за это, не подумав, что его жизни, пожалуй, не хватит на такое дело. Но все-таки в удобной долине, неподалеку от места гибели Лапушкина, он выложил огромными камнями несколько слов: «Люди! Молчите! Смертельная опасность! Звук человеческого голоса вызываст катастрофу! Берегитесь!»

На эту потогонную работу потребовалось больше недели, ведь буквы должны быть достаточной величины, чтобы их удалось прочесть с высоты.

Потом Гуров взобрался на один из горных пиков, торчащих над долиной, чтобы полюбоваться делом рук своих. Но тут его постигло разочарование. Внизу он увидел не четкие, выпуклые каменные строки, а некие извилистые гряды.

Он стал слаб и не смог удержать слез, когда побрел от этого причудливого нагромождения камней

ночь. Солнце палило, манила прохлада леса. Леса земли, где березы, белые, белые... Где дубы, и липы, и клены...

И тут он увидел прямо перед собой, среди лиственных зарослей, тонкий клен с понуро опущенными ветвями. Клен? Такие ли клены на Земле? Да, кажется, похожи: с листьями-звездами. Он коричневого цвета увядания — здесь все тянулось к желтизне, — но это, несомненно, клен! Гуров хотел сорвать большой лист и едва не выругался с досады: планетка опять сооружала мираж, не забыв и о тени. Здесь иллюзорны даже тени...

Возможно (он уже не доверял своей памяти), клен со среднерусской равнины не нашел бы в этом косматом брате-мираже сходства с собою, но Гуров, измученный ностальгией, видел это сходство.

Однако он не бросил попыток оставить предостерегающий знак. Гуров начал искать посадочные площадки в горах. Он нашел идеально ровное плато с огромной, косо торчащей плитой неподалеку, будто нарочно созданной для надписи. Теперь Гуров уже не пытался изображать такие огромные буквы, однако на последнем восклицательном знаке его лазер вышел из строя.

Это потрясло едва ли не больше, чем смерть друзей. И он вспомнил еще одно старое слово — «чудо». Теперь оставалось надеяться только на чудо.

И день чуда настал. Гуров решил сначала, что у него галлюцинация: мерно снижался корабль, и садился он именно на то плато, возле которого стояла единственная плита с предостерегающей надписью

Гуров увидел корабль издалека. Он ободрал себе горло дыханием, пока добежал наконец до плато и упал на камни, словно благодаря кого... что? И за что? Ведь выходной люк корабля был обращен в противо-

положную сторону. Люди, выйдя, не увидят надписи. Они погибнут. И тогда погибнет Гуров...

Он стоял на четвереньках, упершись кулаками в землю и тяжело дыша. Судя по смутно различимым опознавательным знакам, прилетел транспорт геологической разведки. Да, этих могло занести куда угодно, даже прежде косморазведчиков. Они сейчас (Гуров относился к летунам-дилетантам со свойственным профессионалам снобизмом) — они сейчас воскликнут со своей дурацкой экспансивностью: «Ах, бурые скалы! Ах, зеленое небо!» — или что-нибудь в этом роде. И все. Как, ну как заставить их прежде всего повернуть головы и заглянуть налево, на плиту с надписью?

Они выходят! Ну что им стоит повернуться — и увидеть его, прижавшего палец к губам, на фоне плиты! Нет, нет... и ему не добежать. Гуров разглядел фигуры неизвестных, головы: одну светлую, коротко остриженную, другую с длинными темно-русыми волосами. Мужчина и женщина! Сколько надежд, которые сейчас будут погребены. Вот их первый глоток воздуха на чужой планете, первое слово...

Нет! И Гуров, расправив плечи, глубоко вздохнув, зажмурился и крикнул.

И в миг, казалось, бесконечно длящийся, пока Гуров еще чувствовал себя человеком, он испытал осуществленное блаженство слова. Воздух освобожденно влился в его горло, кожа нежилась под лучами солнца, ветер коснулся влажного лба, принеся откуда-то, из неизмеримого далека, запах речной воды. Шелест травы и прикосновение к ладоням чего-то гладкого, прохладного, шелковистого, словно кора дерева...

Они заговорили только в ракете, когда надежно задрасенные люки уже не могли выпустить их голосов наружу.

— Что это? Что это было? — еле вымолвила Элиза. Лицо ее поблекло, под глазами залегли тени.

— Он спас нас. Если бы не он... — проговорил Антонов, сжимая плечи девушки. Заметив, что пальцы дрожат, спрятал руки за спину, стиснул кулаки, пытаясь успокоиться. — Мне кажется, он хотел любым путем обратить наше внимание на эту надпись. И подтвердить, что это не розыгрыш

— Кто он? Я... что он крикнул? Что-то странное... Элиза. — Что он чувствовал? Боль? Страх? Отчего же так долго витала в дрожащем воздухе его улыбка?»

Антонов молчал. Он тоже не понял смысла слов неизвестного. Но, видимо, они много значили для спасшего их человека, иначе почему из бесчисленного множества слов предостережения, надежды, мольбы, отчаяния, радости, любви он выбрал именно эти?..

Еще раз коснувшись плеча Элизы, Антонов пошел в рубку.

— Я не хочу здесь оставаться, — тихо сказала девушка

— Конечно. Но прежде надо выйти на связь. Дать знать. Вдруг [illegible] еще есть люди.

Ответили им не скоро. Пришлось говорить не только с базой, но и с командиром патрульного корабля косморазведки, они искали сгинувший недавно в этом квадрате корабль своего подразделения. Антонова попросили подождать: через несколько часов патрульные прибудут.

День тянулся. Они почти не говорили между собой: потрясение не проходило.

«А ведь он знал, что с ним произойдет, — думала Элиза. — Что он чувствовал? Боль? Страх? Отчего же так долго витала в дрожащем воздухе его улыбка?»

Она приблизила лицо к иллюминатору.

Вон там стоял он. Да. Рядом с этой плитой. Как раз, где теперь стоит дерево. Отбрасывающее косую мятущуюся тень, белоствольное, словно бы устремленное в беге. Странно. Оно похоже на земную березу.

— Оно и правда похоже на белую лисицу, — сказал Антонов.

КАРТИНА ОЖИДАНИЯ

Сам по себе человек ничто, и все дело только в том, что он умеет любить.

Айрис Мердок

— И это все?! — Инспектор уголовного розыска Ерохин закрыл папку и утомленно помассировал веки. — Не густо!

Шаров прикусил губу. Он был новичком в милиции и частицу «не» в оценке своей работы воспринимал как суровое обвинение.

— Может быть, вы сами поговорите с людьми? — нерешительно предложил он. — Вдруг с вами будут откровеннее?

— Хочешь сказать, с тобой скрытничают? — Ерохин прищурился. — Это худо, если участковый не может найти пути к душам людей!

«При чем тут души? — с тоской подумал Шаров. — Мне бы до их глаз добраться. Неужто никто ничего не видел? Ведь не собака пропала, не автомобиль, как в кино, а...»

— Слушай, Шаров, — вдруг доверительно шепнул Ерохин, — я в этом районе нечасто бывал, как-то неважно все это представляю. Ты мне расскажи толком, что там было-то... ну, в этом месте... И вообще, почему ты опись похищенного не составил? Это надо знать, это азы нашей профессии!

— Опись? — Шаров переворошил папку. — Опись была. А, вот она, к другому листку прицепилась. — И, словно извиняясь, пробормотал: — Странно, до чего люди невнимательны. Они все время это перед глазами имели, а начал расспрашивать, что же конкретно пропало, так кто в лес, кто по дрова...

Ерохин взял листок, и лицо его сразу стало тоскливым.

— «Две сопки: [illegible] крутая, горбатая, другая с мягкой покатостью [illegible] в низкий берег, густо поросший смешанным [illegible] лиственница, дуб, береза, липа, бересклет и другие виды кустарниковых), — читал инспектор безжизненным голосом. — Этот берег, плавно изгибаясь, вновь переходит в сопку, также поросшую лесом. Между второй и третьей сопками видна река Обимур. Поскольку уровень воды в реке высокий, левого берега не видно, он затоплен до самых дальних сопок. Над рекой было небо, в воде отражались облака». Это не опись похищенного, а... а не знаю что! Сопка с мягкой покатостью переходит! — зло передразнил Ерохин и вдруг издал тихий стон: — Господи! Да какому же черту понадобилось это красть?!

Шаров опустил голову. Он не имел понятия, какому черту мог понадобиться участок реки, и три сопки, и небо, и облака, да, судя по всему, еще и закатная дорожка на воде: кража произошла между двадцатью и двадцатью одним часом.

— Скажи спасибо, что солнце было еще высоко! — с той же страдальческой ноткой произнес Ерохин. — А если бы и оно попало в эту «серую дыру»?!

Шаров, как всякий работник милиции, не страдал отсутствием воображения, а потому тотчас похолодел. К счастью, солнце в «серую дыру» не попало. Вот и сейчас оно сияло как раз над пустотой, нежданно-негаданно возникшей вчера.

— Может быть, тут что-то связано с космосом? — пробормотал Шаров, стесняясь сам себя и надеясь, что Ерохин не расслышит.

Но тот расслышал.

— Скажи еще, пришельцы! — зло буркнул он. — Бред это, бред!

— Но мы же должны строить какие-то версии, — робко сказал Шаров.

— Версии! Года два назад в профсоюзной газете была заметочка — пассажиры одного самолета видели летающую тарелочку. Ну а у той газеты, чтоб ты знал, самый большой тираж в мире. Представляешь, какие всюду пошли версии?! А оказалось, — интимно шепнул Ерохин, — испытывали какую-то установку... Понимаешь?.. Говорят, в той газете потом всех до вахтера посимали. Может, и тут что-то испытывают?

— А что?

— Какой-нибудь лазерный отражатель, — туманно ответил Ерохин. — Я знаю?! Это по другому ведомству.

— Может, туда сообщить? — осторожно предложил Шаров.

— А, надо им! — отмахнулся Ерохин. — Да и нам... Знаешь ведь, сколько у нас, по сельскому райотделу, нераскрытых дел! Мы просто задыхаемся. Вот потому тебя и подключили: парень ты молодой, энергичный, перспективный... Словом, так: работай самостоятельно. Я тебе доверяю. Побеседуй еще с народом. Все-таки не колпаки с «Нивы» сняли, не тонну комбикорма с Чернореченского свинокомплекса увели — не может такого быть, чтобы никто ничего не видел!

Громин умчался в город, а Шаров опять поднялся на взгорок. Перед его глазами струился Обимур, плыли облака, золотился закат, потом возникала серая пустота, а дальше опять золотился закат, плыли облака и мягко блестели воды Обимура. В затылок Шарову бил горячий июльский ветер, клонились долу травы, машины, взобравшись вверх, быстро переводили дыхание, и эти мгновения тишины были как вопрос.

— Ну ничего себе! — возопил кто-то вдруг. Рядом с Шаровым замерла «Волга» с шашечками. Рыжекудрый таксист [illegible] в окошко, а за дверцу держался высок[illegible] светловолосый мужчина средних лет, и глаза е[illegible] истинный ужас.

— Что [illegible] — выговорил он.

Шаров [illegible] плечом.

Светлов[illegible] прошелся вдоль шоссе. Плечи его поникли. [illegible]в серость печальным взором, он снова сел в м[illegible], и та, ловко развернувшись, умчалась под вопль таксиста:

— Ну и ведьма!.. А эти куда смотрели?!

«Эти», — поздно понял Шаров, относилось прежде всего к нему. «Эти», главное!.. Еще хуже другое: пропажа явно не произвела особого впечатления на население пригорода. Пожалуй, высокий мужчина был первым, кто потрясен случившимся, да и его поразило, например, не то, куда вливается отрезанный Обимур и откуда он потом, за пределами серости, вытекает, а сам факт исчезновения именно этой части пейзажа.

Шаров повел рукой, повторяя очертания похищенного. Да, вот так, прямо, а потом странный изгиб, и дальше опять ровно и под прямым углом вниз...

— Юрочка! Привет! — нежно вздохнул кто-то у него над ухом, и у Шарова даже фуражка поехала на нос, потому что это была Александра, подруга жены, а раз так, то Маша максимум через полчаса узнает, как он тут стоял с обалделым видом, в буквальном смысле разводя руками.

— Привет, — откликнулся он неприветливо.

Черные глаза, черные брови, даже черная косая челка Александры выражали восторг.

— Да... будто кто-то вырезал, правда? А вон там у него рука дрогнула...

— Что ты городишь! — пренебрежительно глянул на пес Шаров. Нет, нет, он вовсе не был грубияном и о женском уме имел самое высокое мнение, более того — сейчас готов был выслушивать самые фантастические предположения, но с Александрой можно было добиться толку, лишь разозлив ее. Тогда она говорила подробно и понятно, а то бросит фразочку, имея в виду интеллект собеседника, а тот голову ломай...

Шаров рассчитал точно. Александра заломила бровь и холодно пояснила:

— Вчера мы с Марией были в кино, смотрели «Фаворитов луны». Там есть эпизод, когда вор вырезает картину из рамки ножом — неровно вырезает, часть полотнища остается. И здесь так же. Будто у кого-то в руке был резец, он обвел часть пейзажа, а вон там, видишь, где изгиб, у него рука дрогнула, — продолжала Александра. — И пейзаж вывалился, как картина из рамки.

— Да, а потом он скатал три сопки и кусок реки в рулон, сунул под мышку, сел на «восьмерку» и уехал в город, — покивал Шаров. — Нормально. Осталось выяснить, почему у него дрогнула рука, да?

Александра дернула углом рта и, не вымолвив больше ни слова, пошла с пригорка. Шаров смотрел ей вслед, гадая, свернет она направо или налево. Налево был путь к Александриному дому, где ее терпеливо ждали муж Вова и два сына. Направо... был дом Шарова, где Александру всегда ждала Мария. Увы! Загорелые ноги Александры привычно понесли ее направо, и Шаров подумал, что, знать, судьба ему такая: сегодняшний вечер всецело посвятить работе.

И он посвятил. И устало жевал жвачку вчерашних

вопросов, и уже мимо ушей пропускал вчерашние ответы: «Нет, не знаем, ничего и никого...», но в мозгу отпечатались-таки Александрины интеллектуальные игры, и неизвестно почему в одном из домов он задал неожиданный вопрос:

— А скажите... вы не видели, чтобы вчера там, на взгорке, стоял человек и вот этак водил рукой? — Он изобразил прямоугольник, заранее готовый вместе с [illegible] людьми посмеяться над собой, как вдруг хозяин дома хлопнул себя по худым коленям:

— Я видел! Она стояла — и делала вот так, точно! — [illegible] еще один говорливый черт. — [illegible] шофер посигналил, она так и вздрогнула, руки [illegible].

— Ну? — застонал Шаров

— Ну и все. Я домой пошел.

Ш[illegible] на спинку стула... Немного успокоившись, [illegible] выспрашивать приметы этой женщины, которую хозяин назвал «она», но толкового ответа не добился: «Вроде молодая, в синем платье — да я сзади смотрел...», а в голове толклись мысли о том, что это, конечно, бред, в райотделе с такой версией его просто расстреляют смешками! Хорошо, что Ерохин сказал: «Работай самостоятельно!»

Ночью ему ни с того ни с сего приснился рыжекудрый таксист, который что-то выкрикивал, кружа возле Шарова на своей «Волге» с шашечками, то и дело зависая над землей, и если бы Шаров разобрал, какое слово выкрикивает парень, он сразу узнал бы, кто украл реку и сопки, но машина ревела, ревела...

Шаров проснулся. Ранняя заря разгоняла с неба облака. Непривычный гул не прекращался. Шаров вышел на балкон, смутно надеясь, что за ночь все оказалось на своих местах. Нет, пустота не исчезла, похищенный пейзаж не вернулся, а на том самом взгорке, где вчера мучился Шаров, стояли десятка два черных

и желто-синих легковушек, толпились люди в форме, над пустотой парил военный вертолет, а с обеих ее сторон вставали на дыбы катера.

В три минуты Шаров тоже оказался на месте преступления. Увидев в толпе Ерохина, протолкался к нему. И тот быстро рассказал, что несколько минут назад завершилось оперативное совещание в краевом управлении внутренних дел, длившееся всю ночь.

Как выяснилось, кража на шаровском участке была лишь фактом в ряду других, с загадочной методичностью происходивших в течение последнего года, но тщательно скрываемых доселе. Ну, предположим, место, откуда исчезло крыльцо обимурской гостиницы «Центральная» вместе с туго открывающейся стеклянной дверью, можно было обнести свеже-зеленым забором с надписью: «Идут ремонтно-строительные работы», а постояльцев гостиницы водить с черного хода. Предположим, можно было закрыть на «переэкспозицию» зал «Родная природа» в краеведческом музее, где пропал целый угол. И огородить колючей проволокой и щитами с изображением агрессивного энцефалитного клеща исчезнувший участок Хехцирского заповедника. Не исключено, что творческая мысль обимурских властей изобразила бы нечто подобное и на участке Шарова, однако поблизости, на Втором Воронеже, располагалось десятка два пионерских лагерей, в один из которых проследовал вчера красивый интуристовский автобус с ребятишками и их сопровождающими из зарубежного города-побратима.

Этим же вечером заокеанское радио сообщило всему миру о серой пустоте, образовавшейся в пригороде Обимурска...

Разумеется, ни о какой «самостоятельной работе» теперь и заикнуться было нельзя. Оперативные группы возглавили товарищи из компетентных органов. Легковушки усвистели в город по раскаленно блестящему под синевой небес шоссе, а Шаров, оставивший свои вчераш-

ние догадки при себе, остался стоять на взгорке, опять же глядя в серую пустоту.

Ему не давал покоя сам этот «набор»: участок реки, кусочек леса, крыльцо гостиницы — со стеклянной дверью! — и уголок музейного зала. Судя по описаниям, они были так же «вырезаны» из окружающего. А если и там побывала та же «она», неизвестная в синем платье? Но зачем ей зал музея? Крыльцо?

Шаров машинально поднял руку, привычно обводя надоевший прямоугольник, но в это время раздался внезапный, как выстрел в спину, сигнал пролетевшего мимо автомобиля, рука Шарова дрогнула... и он вспомнил — вспомнил [illegible] слово из своего сна: ведь его вчера наяву прокричал [illegible] таксист, увозя странно-опечаленного пассажира. [illegible] Шаров это слово, что называется, в голову не брал, оскорбленный пренебрежительно-обобщающим местоимением «эти». А слово было — «ведьма».

Остальное оказалось делом техники. И как бы ни хотелось начать долгое и завлекательное описание того, как Шаров обошел все четыре городских таксопарка и только в самом отдаленном, по прозвищу «Байконур», перебирая личные дела водителей, узнал на фотографии эту нахальную усмешку и кудри, а их обладатель потом долго и мучительно вспоминал, кого же он возил на Воронеж третьего дня, — все это будет неправдой, а неправда, как известно, противопоказана и детективу, и фантастике. Скажем прямо: Шарову просто повезло. В воротах ближайшего же таксопарка, куда он наудачу сунулся, он увидел за рулем готовой к выезду машины того самого парня — по имени, как выяснилось, Саша Гребенников, и через две минуты Шаров уже знал, что ведьмой Гребенников назвал жительницу 91-й квартиры дома № 34 по улице Астрономической.

Шаров подивился памяти шофера, а он смутился: «При чем тут память? Просто уточнил только что в дис-

пещерской». Тогда Шаров восхитился интуицией Саши, и тот не стал спорить, только тихо улыбнулся...

По рассказу Гребенникова, жительница улицы Астрономической («Какая она? Да сам увидишь и поймешь: словами тут ничего не скажешь!») позавчера вызывала по телефону такси, съездила на тот самый взгорок, «поразводила чего-то там руками» и вернулась сразу домой, бестрепетно выложив за все десятку. Пораженный внешней бесцельностью столь дорогостоящего путешествия, Саша Гребенников спросил на обратном пути, сгорая от любопытства: «Что там делала? Колдовала, что ли?» — на что получил рассеянный ответ: «Да уж конечно!»

Потом, увидев загадочную пустоту вместо реки и сопок, он вспомнил свою странную пассажирку, но, конечно, не всерьез, а так, для хохмы, вот и крикнул про ведьму. Всю дорогу тогда Саша развлекал разговорами о ней того, светловолосого, которого видел и Шаров и который был так опечален пропажей пейзажа. Однако к концу пути (этот человек остановился в гостинице «Центральная», и всезнающий Саша открыл ему глаза на внезапность ремонтно-строительных работ на месте гостиничного крыльца) он повеселел и... Тут таксист скомкал свой оживленный рассказ и спросил:

— А правда, что эта красотка стащила сопки? Куда же она их девала, интересно?

— Наверное, дома над диваном повесила, — отшутился Шаров, потом выразил Саше горячую благодарность и бросился к остановке автобуса, хотя можно было, конечно, воспользоваться по такому случаю и такси. Однако Шаров хотел собраться с мыслями, а общественный транспорт, как известно, самое подходящее для этого место, потому что медлителен до фантастичности.

Однако сначала автобус припустил, счастливо минуя красноглазые ловушки светофоров, но не уберегся-таки от судьбы и попал сперва в пробку, а потом потащился по главной улице, перегруженной провинциально-непо-

воротливыми машинами. Водитель, видимо, заскучал и решил несколько разнообразить свое существование. А может быть, он был просто заботливый человек. Или имел своеобразное понятие о юморе.

— Уважаемые пассажиры! — ласково вещал он. — Не забывайте расплачиваться за проезд. Стоимость билета 6 копеек, стоимость бесплатного проезда 3 рубля.

«Мне надо хорошенько продумать линию поведения», — решил Шаров.

— Билеты приобретайте в кассах-копилках. Абонементные талоны пробивайте компостером. Просьба абонементные талоны в кассу не бросать!

«Так. Я приеду и скажу ей... А она мне ответит: «С ума сошел?!»

— Остановка «Гостиница «Центральная». На выход проходите в переднюю дверь. Просьба заранее готовиться к выходу!

«Неужели я и правда верю, что движением руки можно... Нет, это идиотизм. И нет никаких доказательств. Зачем я еду?!»

— Уважаемые пассажиры! Уступайте места людям преклонного возраста и родителям с маленькими детьми!

«Скорее всего она сама вызовет милицию, если я ей выложу свои обвинения!»

— Остановка «Речной вокзал». У водителя имеются в продаже проездные билеты на август и абонементные талоны. Продажа производится только во время остановок!

«Ну, спрошу я: «Не вы, дескать, украли то-то и то?» А вдруг она ответит: «Да!»

— Вас обслуживает экипаж первого ОПОПАТ. Просьбы и предложения можете сообщить по телефону 34-35-11.

— Вы выходите?

— Остановка «Астрономическая»! Стоящий автобус обходите сзади! — донеслось ему вслед благое пожелание. А с мыслями он так и не собрался.

Ну что же, пришлось идти наобум. Вот он, угол улицы Астрономической, и вот этот дом, и этаж, и...

Дверь квартиры № 91 ничем не отличалась от других. Такая же грязно-голубая, и звонок стандартно курлычет, и черно-бронзовый лев сжимает усталыми зубами кольцо дверной ручки...

На звонок не открывали. «Спешил, летел, дрожал, вот счастье, думал, близко...» — подумал Шаров и разочарованно прислонился к двери. Ничего, он подождет! И сердце его дрогнуло, потому что дрогнула дверь и мягко подалась... Ничего не соображая от волнения, Шаров нетерпеливо шагнул в темноту прихожей и тут же, спохватившись, замер, чувствуя, что у него даже ноги похолодели.

Дверь тихо захлопнулась за ним, но тьму впереди рассеивал неверный, словно бы узорчатый свет, и Шаров, приглядевшись, вдруг понял, что это закатные лучи пробиваются сквозь листву, сомкнувшуюся над его головой, а ногам холодно оттого, что они по щиколотку погружены в неширокий, но студеный лесной ручей.

...Шаров приткнулся к заскорузлой коре. Над ним цвела липа, и воздух был густо-сладким, будто наркоз. Ноги уже не держали. Шаров вытянулся на траве, глянул на запотевшее стекло часов. Сколько он здесь кружит? Деревья словно бы тасует кто-то, земля поворачивается под ногами, снова и снова возвращая на бережок ручья. И все нет конца пути, и никак не гаснет угасающий вечер, и все шуршит что-то, и мелькает за деревьями, и овевает взмокшее лицо дальним зовом: «Милый... милый! Иди ко мне, иди!»

Он уж кричал, кричал... Заблудился. Где, как? И что же теперь?

А Маша и не знает, где он, что с ним. Ждет. Болтает с Александрой по телефону. Или шьет, или читает новый

детектив. Но никакой детектив не поможет ему выбраться отсюда.

Веют тихие ветры над головой. «Милый, милый! Иди!..» Шарову даже послышалось, будто в воздухе прошелестело его имя. Но кто здесь может знать его имя? Почудилось!

И вдруг — совсем другой голос. Не шелестящий, не призрачный — женский, живой, только очень усталый:

— Да отстаньте вы от человека! Это не он. Он не придет, зови не зови. А этот... пусть уходит.

И увидел тут Шаров, что совсем рядом, за ручейком лесным, проступили очертания зеркалки, зеркала — а потом и двери. Нормальной двери из нормальной прихожей — той самой, через которую он попал сюда. Выход! Вот и фуражка валяется — а думал, что потерял. Все! Отпустили! Надо уходить, и поскорее, пока не передумали. Пока не передумали... Кто?

Встал с трудом. Застегнул ворот, надел фуражку. Ну, ходу! И... ломанул опять в чащу.

Тихо было. Стояла та вечерняя пора, когда солнце мягкое, и теплый воздух чуть дрожит, а возле каждого деревца, каждой травинки ложится зыбкая тень, и земля словно бы вздремнула под золотистой сетью.

Но вот лес кончился, и Шаров очутился у высокого крыльца. Оно поднималось к стеклянной двери, аноти- ны глазки темнели в керамическом вазоне, а рядом, прямо на серых ступенях, понуро сидела женщина. Ка- кая-то не то изможденная до крайности, не то совсем уж нереальная, полупрозрачная фигура маячила побли- зости, но при появлении Шарова проворно истаяла.

Женщина осталась неподвижной. Было в ее позе что-то сломленное. Спит? И в синем платье. Она!

Шаров замер — вот удача! Решительно взбежал по ступенькам.

Женщина, однако, по-прежнему не шевелилась. Ша- ров осмелился осторожно приподнять ее поникшую го- лову. Вот она. Вот она какая... И что особенного? Бледн-

ное утомленное лицо, ресницы сжаты, брови сведены, губы набухли, словно у наплакавшегося ребенка. Медленно открылись глаза. Ну, глаза, конечно, ничего...

Серые глаза дремотно смотрели на Шарова, на ступеньках опять нетерпеливо заколыхался блеклый силуэт, но Шаров, возвращая себе уверенность и храбрость звуком собственного голоса, спросил:

— Зачем вы это делали?!

Усмешка освежила померкшие глаза, женщина приподнялась, тряхнула головой. Пронесся разочарованный вздох-ветерок — и стихло все.

— Кто это тут был? — спросил Шаров.

— Где? — Она оглянулась. — Ну, должно быть, моя смерть. Я ведь умираю, молодой человек.

Конечно, она была явно старше Шарова, но уж не настолько же!

— Вы что, больны? Так надо же скорей!..

— Я умираю от любви, — просто сказала она.

— А как же расследование? — обалдело спросил Шаров, невольно снимая фуражку. — Не умирайте, подождите, подождите немножко!

Она улыбнулась, а Шаров покраснел.

— Хорошо. Я подожду. Час-другой роли не играет. Я ведь умираю уже давно-давно, и вот только сегодня, наконец, смерть пришла за мной. Да тут вы явились. — В голосе ее зазвенела досада. — Зачем? Я же велела вас отпустить.

— Да, кстати, а кто это там мелькал? Звал? — беспокойно поинтересовался Шаров.

— В лесу? Это мои мечты, — тоскливо глядя на сверкающую дверь, ответила незнакомка. — Мечты, которые никогда не сбудутся.

— Почему? — спросил Шаров.

— Что, вы уже приступили к расследованию? — Все-таки рот был самым выразительным в ее лице. Казалось, он говорил, даже когда она молчала. В уголке его скопилось столько печальной иронии! — Почему,

спрашиваете? Потому что он не приедет. Кто он? Тот, кого я люблю. Кого я люблю? Это не имеет никакого значения для следствия. Все? Есть еще вопросы?

Почему-то лишь сейчас до Шарова дошло, что крыльцо и надраенная дверь — пропавшее имущество гостиницы «Центральная»!..

У Шарова перехватило дыхание. Так. Получается, что две пропажи уже обнаружены: ведь лес, где он блуждал, конечно же, тот самый!

— Скажите, а сопки, что с Воронежа пропали, тоже у вас? — поспешно спросил Шаров.

Она кивнула.

— И музейный зал?

— Не весь, не весь! — вскинула она ладонь. — Только уголок. А почему вы не спрашиваете про фонарь из Паркового переулка?

Шаров смотрел непонимающе. Тогда она поднялась, поправила волосы — и вдруг прыгнула с крыльца туда, где, оказывается, вздымался на серебристом от изморози столбе тусклый фонарь и блестела ледяная дорожка.

Незнакомка подскользнулась, искры взвились из-под ее взвизгнувших каблучков, но она удержалась и вновь вскочила на крыльцо. Волосы ее замерцали на солнце. Шаров зачарованно смотрел, как на черных туфлях таял снег.

— Вы об этом не знали? — догадалась она.

Он сконфуженно улыбнулся.

— А об этом?

Гостиничная дверь бесшумно приотворилась, и Шаров увидел обычную парковую скамью неопределенного цвета, и низкую металлическую ограду за ней, и нависший куст полуотцветшей сирени. Возле скамьи дремала тощая некрасивая дворняга.

Шаров невольно свистнул. Собака слегка повернула

узкую морду, серьезно глянула на него и опять закрыла глаза.

— Она не пойдет к вам, — предупредила незнакомка. — Здесь все, как было тогда. Вернее, почти, потому что нет того красного «Москвича» с веселым семейством, которое покатывалось со смеху, глядя на нас. Дело в том, что мы гуляли, гуляли — и устали, и вот сели отдохнуть. Я положила ему на плечо голову, он прижался щекой к моим волосам, глубоко вздохнул, и вдруг голова его отяжелела, и я поняла, что он мгновенно уснул. Мне стало смешно, но я не шелохнулась, а вскоре и сама уснула, да так крепко! Мы ужасно не высыпались тогда... Прошло, наверное, полчаса, как меня разбудило холодное прикосновение к ноге. Открываю глаза — эта вот собаченция тычется влажным носом в мой чулок, словно хочет сказать: хватит народ смешить! Я посмотрела — и правда, кто ни идет мимо, всяк на нас оглянется. Тогда я осторожно коснулась его лица, и он сразу пробудился, поднял голову. А те смотрели на нас из машины и смеялись, и мы тоже стали хохотать. А потом пошли своей дорогой.

— Нет, — сказал Шаров, чувствуя неожиданную нежность к тощей бездомной собаке. — Эта кража в оперативке не значится. И фонарь тоже.

Она переводила мечтательный взор с заснеженной улочки на музейную витрину, где желтоглазый обимурский тигр словно задумался о чем-то.

Шарову стало понятно многое.

— И крыльцо? — тихо спросил он.

Незнакомка кивнула.

— Ну а лес? И тот уголок на Воронеже? — Ему было стыдно, но он не мог удержаться от вопросов.

— Да, собственно, это не имеет прямого отношения, — виновато улыбнулась она. — И, конечно, если бы он приехал, я бы все вернула на свои места. Он не приедет, он даже адреса моего не знает теперешнего, но ведь нет ничего чудеснее ожидания счастья, нет ничего

ознобнее. Я так ждала его! Изо всех сил! Вот силы и кончились. Боже ты мой! Он мне и на улицах чудился. Хотя нет никого в мире подобного ему! Он воистину явление природы, как ночь, луна, снег. Тысячу раз я в мечтах пережила его возвращение и нашу встречу. И мечтала показать ему все, что мне мило и дорого. Тысячу раз описывала эти места в своих пламенных посланиях. И вечерние тени, и этот тихий свет, и Обимур меж сопок. Знаете, как в стихах: закат, и облака, и воды...

Она смотрела вдаль, и Шаров посмотрел туда же. Там цвел предзакатный Обимур под ясным, уже чуть-чуть зеленоватым небом, и облака, пока бело-розовые, были слегка тронуты мглою.

Он вспомнил, как составлял опись. Нет, и очевидцы, и он ошибались. Вовсе не до самого горизонта распростерся Обимур, но изрезал левый берег десятками проток, которые сейчас сверкали, одна другой ярче, а сопки на горизонте были неразличимы, завешены дымкой дальнего дождя. Такое уж стояло дождливое лето...

— Ох! — сдавленно сказал Шаров. — Да как же вы это делаете? — Он в очередной раз изобразил в воздухе прямоугольник.

Она не то улыбалась, не то подавляла слезы, повторяя его жест:

— Именно вот так. А почему получается — не знаю. Когда дойдешь до такого состояния, до предела... когда умираешь от любви, а ожиданию нет конца, тогда получается все. Все! Кроме самого главного.

— Да как же так?! — повторил Шаров, но уже о другом. — Что же, вам ничего не дорого в жизни, чтобы умирать? Вы же где-то работаете, верно? Зачем вы хороните себя среди воспоминаний?

— Да вы садитесь, — предложила она, и Шаров послушно плюхнулся на низкий диван в просторной ком-

...ате. У невключенного телевизора был выпуклый злой ...ик, настороженно смотрели книжные шкафы. Откуда-то ...ахло жареной картошкой.

— Ну, похороню себя здесь — какая разница? — окинув комнату небрежным взглядом, сказала она. В голосе ее появилась жесткость, и Шаров подумал, что, наверное, эта женщина не любит, когда ей противоречат. — Кстати, увидеть *это* удалось вам первому. Вы были настроены встретить нечто необычное, да?

Шаров кивнул, вспомнив таксиста с рыжими кудрями.

— Не буду домогаться ваших профессиональных секретов. Да, я сказала, что вернула бы похищенное, если бы он появился. Но когда я умру, оно вернется на место само собой, вы не волнуйтесь.

Почему-то это уже очень мало волновало Шарова.

— Но нельзя же, нельзя же быть фигурой в картине ожидания! — страстно выкрикнул он и умолк на миг: вот сказанул! Даже Александре, пожалуй, не додуматься до такого. — Нельзя жить только мечтой! Можно подумать, это первая любовь.

Она пожала плечами:

— Любовь всегда первая. Ну а мечта... Все живут мечтой. Вы, к примеру, — раскрыть невероятное преступление, да? Ваша жена — мечтой, что вы не то чтобы продвинетесь по службе, но вдруг станете похожи на героев-сыщиков всех тех детективов, которые она читает, поджидая вас.

Шаров похолодел.

— Вы не обиделись, надеюсь? — спросила незнакомка. — Не удивляйтесь, что я это знаю. Как-то так получается. Я теперь все знаю, кроме одного: почему он забыл меня.

Она достала что-то из шкафа.

— Посмотрите, — на колени Шарову упал ворох материи, — вот моя работа.

Шаров смотрел. Это были вышивки — необычайно

модные теперь вышивки «крестом», как вышивали в старину. Бум на них не проходил уже много лет и даже нарастал. По ним, знал Шаров, некоторые просто-таки с ума сходили. Вышивки, которые он видел сейчас, были очень хороши. Портреты каких-то людей в старинных одеждах, фантастические сценки, былинные богатыри, пейзажи... Он раскладывал вышивки на диване, как вдруг заметил, что на всех изображен один и тот же человек. Упорно повторялись черты этого худого замкнутого лица. Правда, глаза были то серыми, то голубыми, то зеленоватыми, а волосы светло-желтыми, светло-серыми, словно седыми, совсем уж белыми, — но все был он, он... Кажется, Шаров видел где-то этого человека. Нет, просто лицо окружило со всех сторон и почудилось уже знакомым.

— Память о нем живет даже в кончиках моих пальцев, и что бы я ни делала, она проникает в дело рук моих, — тихо сказала незнакомка.

— Как-то все это... слишком красиво, — с досадой сказал Шаров: обида еще не покинула его.

Она промолчала.

— Красиво? Ох, но меня учили любви строки прекрасных стихов, а не поцелуи после танцев. Я не верю в любовь, если о ней нельзя сказать красиво, если слова о ней липялые, как привычка, или неразборчивые, как знакомство на танцплощадке.

Дались ей танцы!

— А вы с ним где познакомились? — не скрыл Шаров своего любопытства.

Она покраснела:

— Да можно сказать, что на улице. Но важно другое — чем оборачивается встреча! Вы видите, чем. А впрочем, может быть, вы и правы, все это слишком красиво. И, главное, все уже было, было у других. Вот, пожалуйста:

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Утром и вечером, в холод и зной,

Вечно мне слышится отзвук невнятный,
Словно дыханье любви непонятной,
Ради которой мой трепетный стих
Рвется к тебе из ладоней моих...

— Но это же стихи! — возразил Шаров.

— Для меня нет и не было никакой разницы между жизнью и литературой. Ни-ка-кой!

Почему-то Шаров почувствовал себя увереннее. Не потому ли, что лицо на вышивках не таило в себе, на его взгляд, ничего особенного?

— Вот-вот! — наставительно изрек он. — Вы живете в выдуманном мире, оттого вам и не хватает воздуха. — Еще одна фразочка что надо! — А если бы вы вернулись на землю, то поняли бы, что здесь много таких радостей, которые излечили бы вашу печаль.

Она взглянула на него с изумлением, но тут же улыбнулась печальными губами:

— На землю? Господи! Да вы что, не видите ничего?!

И Шаров увидел кухню. Вот откуда так сладостно пахло жареной картошкой!

Его собеседница теперь стояла у плиты. Над сковородкой плавало облако пара, а хозяйка словно бы не замечала брызг шкворчащего жира. Она была в простеньком платье и фартуке, волосы подобраны. Повернулась к зашипевшей кастрюльке — и Шаров увидел ее лицо. Да нет, это вовсе не та, что умирает от любви! Эта старше лет на десять!

Шаров растерянно оглянулся. Да, незнакомка в синем сидит рядом с ним на диване, заваленном вышивками, а хозяйка кухни понуро застыла у плиты.

— Я уж думал, это вы там. Но она по возрасту чуть ли не в матери вам годится, — решил Шаров польстить своей собеседнице. Однако та смотрела с грустью.

— Вы знаете, в ваших словах что-то есть. Я не родилась бы, не будь ее. И вот ее, и ее тоже, и ее...

И увидел Шаров свою незнакомку: в незастегнутом халатике поверх ночной рубашки, взлохмаченная, стояла

она перед зеркалом в ванной комнате и торопливо похлопывала кончиками пальцев по лицу, густо покрытому желтоватым, пряно пахнущим кремом, а глаза у нее были не то сонные, не то...

А вот она уже стоит в платье вызывающего вида, что-то такое черно-белое, и волосы подобны пепельному облаку, и надменны яркие губы, и холодно-неподвижны глаза за решеткой ресниц.

И увидел он ее опять, по-домашнему одетой, с вязаньем, в кресле, и спицы постукивали, а глаза смотрели мимо, мимо, никуда.

— Да что они все как мертвые?! — раздраженно воскликнул Шаров.

— Почему они? — пожала плечами женщина в синем платье. — Это же все я, как вы не понимаете?

— Какая же из них настоящая? — почти с испугом спросил Шаров. Он был почти уверен, что она скажет: «Конечно, я», но ответ был другим:

— Они настоящие все. Но скоро одна из них — я — умрет. А жизнь других будет продолжаться. Глаза их опустели, потому что они знают: их скоро станет меньше... И это не последняя смерть. Следом, наверное, умрет вон та злая красавица. Потом та, что тщится скрыть под кремом морщинки. А может, наоборот. Дольше других продержится хозяйка у плиты, но и ее пересидит та, что в кресле. Нет, она будет двигаться, одеваться, готовить еду и даже улыбаться, но останется одинока в себе. Вот тогда в женщине совсем умрет Женщина. Она будет ласкова и добра, и окружающие будут благословлять ее за то, что она отдала им всю себя, но...

«Маша! — вспомнил Шаров. — Неужели и тебя тоже — несколько? И твоей Александры? И любой другой женщины? А ты, Маша, умерла ли ты от любви? Или это еще предстоит тебе? А что тогда делать мне? Или я тоже теряю то одного, то другого себя?»

Ах, как мы умеем даже беды других, даже смерти

других примерять на себя!.. И Шаров, устыдившись, воскликнул:

— Но как, скажите, как вернуть им цельность? Как сделать их единым существом, чтобы не разбивала их смерть на осколки? Могут ли они быть счастливы все, разом?

— Могут, — мягко улыбнулась та, что носила синее платье. — Вернее, могли бы, если бы вернулся он. Но что толку мечтать о несбыточном?

Она взяла Шарова за руку и повела к двери. Пальцы ее были как лед.

— Прощайте. Какое красивое слово, верно? Безвозвратное.

Шаров смотрел, смотрел на ее усталые губы, на уже почти безжизненные глаза.

— Зачем я сюда пришел! — вдруг прошептал он. — Зачем я вас увидел!

Губы испуганно дрогнули.

— Теперь я буду во всех искать признаки смерти, понимаете? Буду думать: а вдруг завтра погибнет часть души этого человека?

— Мой дорогой, — ласково сказала она, снимая с его рукава серую шелковую ниточку, — я виновата перед вами, наверное. Зачем растревожила? Но послушайте меня. Может быть, это и хорошая тревога? Может быть, в том и есть смысл, чтобы сердце успело выгореть все, дотла? Да, да, красиво, я знаю! — улыбнулась она, и Шаров улыбнулся в ответ. — И еще. Никогда не спасайте человека, который умирает от любви. Выжить можно, только озлобясь. А уж лучше гибель.

Она смотрела на него опять с жалостью, и подступило искушение спросить, не известно ли ей, когда это случится с Машей. И кто будет тем человеком, из-за которого... Но он не разомкнул губ, и она одобрительно кивнула:

— Да, да, вы правы. Но уж идите, идите! Все, сил моих больше нет. Идите!

Она торопливо отомкнула дверь и почти вытолкнула Шарова на лестничную площадку.

Он побрел, не разбирая ступеней, и оступился было, да его подхватил человек, поднимавшийся по лестнице. Шаров кивнул в знак благодарности и машинально пошел вниз, думая, что явно видел его, и это усилие памяти на какие-то мгновения захватило его, и помогло выйти из подъезда, и миновать двор, и сесть в автобус.

И опять потянулись улицы и площади, площади и улицы, и внезапно, словно от толчка, глянув в окно, Шаров увидел, что от входа гостиницы «Центральная» торопливо убирают щиты. Знакомо сверкала дверь, чернели цветы в керамическом вазоне, только ступени были пусты.

«Все. Значит, все!»

Он знал, знал, что это должно случиться, но так быстро, так сразу? Рванулся было к выходу, толкнул какого-то парня, тот угрожающе обернулся, но при виде формы стушевался.

Шаров повис на поручне. «Это мои мечты, которые никогда не сбудутся... Нет ничего озноб нее ожидания, ничего чудеснее... Всюду мне слышится голос невнятный, словно дыханье любви непонятной... Никогда не спасайте человека, который умирает от любви!»

Все. А он даже не спросил ее имени!

И бесконечно тащился автобус, и чем дальше, тем медленнее, то подолгу замирая, то вновь качаясь на тормозах.

Шаров глянул вперед. Путь был запружен машинами и людьми. Наконец водитель, молчавший всю дорогу, угрюмо провозгласил:

— Автобус дальше не пойдет!

Да уж!.. Шаров с трудом пробирался сквозь толпу. Зачем? Не все равно ему было — сидеть в пустом автобусе, ожидая неизвестно чего, стоять на обочине, идти? Но он шел, шел и наконец-то добрался до своего дома.

Вокруг кипела толпа, все смотрели в сторону Оби-

мура, и, когда Шаров тоже посмотрел туда, он увидел... он увидел то, чему суждено было отныне и навеки стать главной достопримечательностью и Обимурска, и всего Обимурского края.

Те три сопки, которые «с мягкой покатостью»... и зелень леса... и блеск многочисленных проток, и дымка дальних дождей... Все это вернулось, «картина» встала в «рамку», но... *вниз головой*!

Все было *перевернуто*: закат, и облака, и воды.

И едва Шаров увидел это диковинное зрелище, как вспомнил, отчего таким знакомым ему показался человек, встреченный на лестнице. Шаров видел его на воронежском пригорке! И это же самое лицо было изображено на вышивках!

Шаров отвел глаза от Обимура, струящегося в облаках, и тихонько рассмеялся.

СОН МАРИИ

Все гости пусты и сквозят, как туманы,
Не тронута снедь, не початы стаканы —
Так кто же тут был?

Ю. Кузнецов

Зима в тот год выдалась на диво беззвездной, словно светила все расточились по иным созвездиям, невидимым из нашего города. И только на обимурском утесе можно было почувствовать ночной простор небес. А так... черный глухой колпак с дыркой для луны. И все.

Впрочем, может быть, звезды просто отворачивались от меня? Это была тяжелая зима!

Случилось так, что в новогоднюю ночь я оказался один. Не стану обременять память отголосками былых печалей, бог с ними, пусть пребудут с теми, кто мне их щедро дарил. Я остался один, а один быть не умею. Не научила жизнь смотреть на себя, слушать себя и собой наслаждаться. Как быть? Лечь спать и в голову не приходило, телевизора я не любил, и он платил мне тем же, то есть его стеклянное лицо было большей частью непроглядно-хмурым. Пойти к соседям — испор-

тить людям праздник. Редакция наша в полном составе собиралась у второго зама главного, но явиться туда после того, что говорилось обо мне на последней летучке? Нет уж.

Измаявшись в одинокой духоте, я вышел на улицу. Рассказывали, что на прудах, где установлена огромная елка, некоторые чудаки встречают Новый год. Ну что же! Чужой среди чужих, случайные улыбки, никого не обременяешь, для разнообразия — мгновения ни к чему не обязывающего чувства единения с народом... У меня был коньяк, с бою взятый заранее, когда я еще не предполагал, что окажусь этой ночью один. Теперь бутылка поощрительно побулькивала во внутреннем кармане моего пальто.

Улица была пуста, черна, бела. Странные ночные тени, обрезки тьмы, лежали на снегу. И моя тень, будто соглядатай из мира мрака, то крадась позади, а то забегала вперед, норовя нахально заглянуть в лицо.

Пройдя широкой улицей, я свернул на другую, ведущую вниз, к обимурскому бульвару. Это была улица моего детства — чуть ли не единственное место в городе, куда я любил приходить не по обязанности маршрутов и где душа моя ощущала подобие покоя.

Три забитые снегом ступеньки, превратившиеся в ледянку, и крыльцо «генеральского дома» с балюстрадой, и сполохи елочных огней меж тяжелых штор. Над забором скрежетали ветви черемухи. Школа с такой низкой, низкой крышей... И тут навстречу мне из дворика вывернулся человек. Надо было нам, двоим на совершенно пустой улице, столкнуться, да так, что не разойтись! Кидались туда-сюда с извинениями и сконфуженными улыбками, словно некая сила перемещала нас на месте для того, чтобы мы наконец-то узнали друг друга и заорали:

— Сашка!

— Витька!

То был мой бывший одноклассник. Дружба наша не

переросла школьных лет, но тем трогательнее оказалась неожиданная встреча. Не буду тратиться на пересказ нашего стремительного диалога, но в конце концов Сашка узнал, что деваться нынешней ночью мне решительно некуда. А он спешил в компанию — почти незнакомую, но «очень интеллигентную». И до чего же я вдруг ему позавидовал! До чего испугался ледяного радушия прудов!.. Тоска взяла.

Сашка нетерпеливо топтался рядом, готовый бежать дальше, но не знал, как бы это половчее проститься со мной, бесприютным, а я молчал, будто обиженный пацан, которого бросают дружки. И вдруг, словно бы решившись или услышав подсказку, Сашка схватил меня за руку и потащил в один из деревянных домов, которые помнились мне с детства и давно были обречены на снос. Я не противился, а когда, с мороза, мы ворвались в коридор, где густо пахло старьем, керосином, сыростью, я едва не опередил своего вожатого. Запахи детства — это что-то необъяснимое! Я был готов воспеть и вату из разодранного одеяла, дранкой прибитого к стене крестнакрест, и железный почтовый ящик с висячим замочком, и даже обвалившуюся штукатурку. Чудилось, этот благословенный подъезд не изменился за четверть века. Дом производил впечатление ничейного, и я вспомнил вдруг, что, по сути, так оно и было: уже много лет здесь селили людей случайных, чьи жилища подвергались долгому капитальному ремонту. Ютились они тут по году и больше, в нагромождении вещей, неудобствах и надежде на расторопность городских властей. Видимо, к разряду таких вот бедолаг и принадлежали Сашкины «интеллигенты».

Мы вошли. В прихожей и кухне горел нормальный свет, а в комнате свечи — какое-то церковное множество свечей! Приглядевшись, однако, я понял, что это оптическая иллюзия: свечей было не так уж много, зато здесь стояло несколько зеркал, их роль выполняли и стекла книжных шкафов, огоньки разбегались, дробились... Ком-

ната была невелика; но из-за этих свечей, мигавших в глубинах отражений, чудилось, будто мы, гости, сидим не за тесным столом, а далеко-далеко друг от друга... в разных углах, в разных комнатах... в разных мирах... Впрочем, я частенько помнпаю мирозданье всуе!

Ну вот, мы сидели, пили, ели, нормальный свет потом, кажется, зажгли, потому что я разглядел некоторых гостей. Играла музыка, несколько человек танцевали среди нагромождения вещей, в полночь все пили шампанское и кричали. Толпа была разнородной, но при этом никто не чувствовал ни разобщенности, ни скуки, ни неловкости друг с другом, хотя не было стержня, роль которого в застолье призваны исполнять хозяева. Надо сказать, хозяина вовсе не было. А хозяйка...

Она вела себя так, будто сама здесь нечаянная, никого не знающая гостья. Сидела в потертом кресле, завернувшись в тонкую белую шаль. У нее были очень прямые худые плечи, и я в жизни не видел, чтобы шаль так строго лежала на плечах.

Хозяйке было, пожалуй, около сорока; возраст ее выдавали серые от седины, коротко стриженные волосы и еще глаза. Серые, большие, с назойливым выражением тревоги. Иногда они заплывали слезами, и в них начинали колыхаться огоньки, глаза словно бы горели, а потом скулы напрягались — и она снова сидела с подобием улыбки на губах. Чудилось, она горда... но это была уязвленная гордость.

Конечно, я спросил о ней Сашку, найдя его оживленно обсуждающим традиции и влияние вольных каменщиков с каким-то бородачом. Почему? Да здесь казалось возможным все.

Сашка торопливо пробормотал, что муж этой серо-глазой женщины, собственно говоря, и соткал пестрый узор компании, но как ушел утром, так до сих пор и не возвращался. Тревожится Анна не потому, что с ним могло случиться худое. Ходили слухи, будто хозяин из-

меняет жене направо и налево и, судя по всему, задержался в одной из тех сторон.

Видимо, я к тому времени был не очень-то трезв, потому что рванулся к хозяйке, устроился рядом, забрал ее холодные пальцы в свои.

— Не надо так переживать!

Глаза Анны заметались было, но вдруг с надеждой приковались ко мне.

— Знаете же, как у нас ходит транспорт! — почувствовав некоторое одобрение, продолжал я. — Ну просто штурмом надо брать! А пока дойдешь — разденут. Может быть, и ваш муж не доехал еще. Или решил подкупить горючего. А уж очереди за этим делом!..

— Помилуйте! — сказала Анна. — Какая очередь? Какой транспорт? Сейчас уже за полночь!

Ну я и загнул! И впрямь... Но лихой мой язык, словно уши не передали ему сигнала «стоп», порол свое:

— Говорят, что в других городах этого безумного антиалкогольного прессинга нет. Когда из меня делают крутое тесто в автобусе или когда я вижу тьмы, и тьмы, и тьмы перед открытием винных, я нашему градоначальнику желаю, чтоб ему на том свете два мучения чередовали. Один день — входить и выходить из автобуса, который бы штурмовала толпа чертей с самыми острыми локтями и самыми тяжелыми копытами, чтоб ему истыкали все бока, истоптали все ноги! Входить и выходить! А на другой день, — все более распалялся я, — ему бы стоять в аду в очередях в винные магазины!

— Муки иные увижу я там, — внезапно прервал меня детский голос. — Увижу я великое древо, на котором висит множество удиц, а на удицах будут повешены грешники: кто за язык, кто за уши, кто за вежды, кто за сердце. Это будут клеветники, волхвы, злотворники и кривопретворники, творившие из права — криво, и из крива — право.

Взгляд Анны дрогнул, я оглянулся. И мельком заметил, что к голосу, меня изумившему, оборотился и один,

остальные же гости собрались вокруг, глазели на меня и слушали так, будто внимали бог знает каким откровениям. А там, куда я поспешно обернулся, стояла в уголке девочка.

Ей было лет двенадцать, не больше. Серо-голубое платье топорщилось вокруг худенького тела. Темно-русые волосы затянуты в косу, кожа на висках натянулась, и глаза казались странно удлиненными. Глаза были темные, карие. Тонкий нос, круглые четкие брови, маленький подбородок, поджатые губы. Она стояла, опустив руки, сплетая пальцы. Что в ней особенного? Но эта девочка только что произнесла ужасные своей неожиданностью слова. Почему? Я смотрел, смотрел на нее. Глаза ее были не то что большими... эта темнота растекалась под веками, глаза как бы расплывались в погоне за разбредшимися мыслями.

— Моя дочь, — сказала Анна. — Она... не совсем здорова.

Да, вот что было, оказывается, в этом взгляде, под которым я чувствовал себя не то ветвистым деревом, не то заскорузлым столбом. На какой-то грани... границе... когда разом смотришь в небо и землю. Жутко! Я испытал такое лишь раз в жизни, когда случайность занесла меня в деревушку, связанную с именем одного из величайших писателей нашей русской земли. Открывали дом-музей. Народу собралось неожиданно много, в первую партию посетителей я не попал, а был позднеоктябрьский день, стылый, сырой. Рядом стояло приземистое строение — я зашел погреться. И попал на концерт художественной самодеятельности. Это было нечто вроде клуба — тесное, теснее плацкартного вагона помещение. Крошечная сцена, несколько рядов деревянных, сбитых между собою кресел. Стены были облицованы зеленым волнистым пластиком, на манер летнего павильончика. И совсем рядом со мной к стене был прикреплен пока-завшийся огромным синий ящик с белой ослепительной молнией и надписью: «Напряжение 380 В». На сцене

три девочки неловко выплясывали что-то среднее между «Барыней» и гопаком.

Мне никогда не передать словами ощущения, охватившего меня в том клубе. Выбежал вон! Серое небо, вдали сквозной осинник, слякотный снег, пахнет свежим срубом. Будто я проломил лед на реке и вынырнул, будто вскрылась крышка гроба!

Не знаю, почему, посмотрев в эти странные темные глаза, я вспомнил тоску, поразившую меня в том «приюте культуры». Что-то о невозможности, невероятности, непереносимости некоторых сочетаний, которые подсовывает нам жизнь...

Я заметил, что все еще стою, схватившись за грудь, глядя то на девочку, то на Анну. А ее глаза вдруг снова затекли слезами.

— Моя дочь немного больна, да. Но при этом она... как бы сказать... видит и понимает куда больше нас, здоровых.

Безмолвие окружало нас. Девочка приложила ладонь к стене, и я услышал, как под слоями побелки, в сухом бревне, проснулся жук-древоточец. Белые узоры струились по стеклам.

— Она иногда отвечает на мои вопросы, если я... — Анна всхлипнула, не сводя с меня взгляда. Слезы увеличивали ее глаза, как линзы.

— Иди ко мне, — протянула она руку девочке. Та подошла и прислонилась к матери спиной, немного не доставая Анне до подбородка.

Анна обняла ее одной рукой, быстро коснулась губами темно-русых волос.

Нет, я уж слишком сентиментален. Смотрел на них двоих, и мне чудилось, будто что-то нисходит с небес. Я бы сказал — сияние, но как-то... не знаю... Чему бы там сиять?

— Мария, — медленно сказала Анна, — послушай.

Темный долгий взгляд девочки устремился на нее.

— Мария! — Голос Анны стал резче. — Где отец? Расскажи.

Девочка моргнула, будто прогнала не то соринку, не то время.

— Отец мой был очень добр. Отца моего звали Аким, мать — Анна. Они не имели детей и скорбели о своей бездетности. Долго молили они бога послать им ребенка, и наконец...

— Мария! — одернула мать. — *Мы* это знаем. Расскажи *ему*...

Она слегка сжала плечо дочери, и темный взгляд прильнул ко мне. О чем загадывала она, глядя на меня, как на падающую звезду? Впрочем, скорее я так на нее смотрел, я.

— Мой папа добрый, очень добрый, — не отводя от меня глаз, забормотала вдруг Мария не своим, медлительным и тихим, а чужим, девчоночьим голосом, как будто на нее внезапно напал какой-то детский сон. — Он часто берет меня с собой... Он любит ходить в рестораны и часто берет меня с собой.

Я заметил, что слово «рестораны» она выговорила с запинкой.

— Он ходит туда только с тобой? Или... с кем-то еще? — вкрадчиво понизила голос Анна. — С вами ходили женщины?

— Да, — еще больше расширяя глаза, ответила девочка.

— Ты знаешь, где он сейчас? — Анна прижала к себе дочь еще сильнее и говорила, почти уткнувшись губами в ее голову.

— Да.

— Он один?

— Нет.

— Что делает он? Они?..

«Господи, — подумал я, вдруг все поняв. — Что ж *она* делает, мать?»

Да, мне показалось, я понял. Мария, конечно, не

в себе, не от мира сего, но... обладает каким-то чудесным зрением или слухом. И мать пользуется этим, чтобы выведать мужа. Не слишком-то это милосердно! Да еще на глазах у всех.

Лицо девочки застыло, но взгляд страшно ожил. Глаза бегали по фигурам гостей. Казалось, обрывки наших — и не только наших! — потайных дел, дум и поступков она связывает воедино и сматывает эту нить в невидимый клубок.

— Что он делает?

Я заметил, что по тоненькой шее девочки к лицу ползет краска. Мария судорожно сглотнула. Слезы? Или слова? Или это Анна слишком сильно сдавила ей плечи? А глаза Анны так и выливались в слезах. Уж не они ли настыли на стеклах окон за много дней страданий?

Мария приоткрыла рот, силясь вздохнуть. Брови ее исказились.

— Говори, говори!..

— С ума сошли, Анна! Задушите! Прекратите это издевательство!

Этой мой голос. Это я крикнул.

Анна медленно отпустила дочь. Та пошатнулась. Анна подхватила ее, подняла, прижала к себе, тяжело пошла из комнаты.

Я перевел дыхание. Осмотрелся. Нет, любопытство компании, в которую меня занесло, превосходило всякое приличие. Как смотрели на меня эти люди! Их лица словно бы заострились, постарели, исказились от ожидания. Но — чего? Чего?.. И во всех взглядах, обращенных ко мне, читалось еще и поощрение... как будто я оправдал какие-то их надежды.

Ну а мне было неловко. Стоило вспомнить, как закричал на хозяйку, и во рту сохло от стыда. Сашка небось кается сейчас: «Кого я привел!» Вон посматривает из-за плеч и голов. Свечи оплывали, догорая. Из стен заметно сквозило.

Я посмотрел на дверь, в которую вышла Анна, унося

дочь. Надо извиниться, загладить невольную грубость, иначе я покоя знать не буду. Почему нельзя было подождать, пока Анна вернется? Нельзя было.

На пороге я обернулся. Сашка сделал странный мгновенный жест у губ, похожий на призыв к молчанию. Но стоявшая рядом с ним женщина с ликом страдалицы повела ресницами — и мой приятель оцепенел. Странности, странности...

Я вышел в коридорчик. Был он убог и тесен, бревно подпирало потолок, сквозь щели было видно, как ветер треплет клочья вьюги. Несло стужей. Я открыл какую-то дверь. И здесь толпились зеркала, и здесь множились отражения свечей. Мария, скорчившись, полулежала в кресле, прикрытая шалюшкой Анны. Мать, похожая на призрак, так светилось ее лицо и так неразличимо темнело платье, склонялась над ней.

— Бога ради, простите, Анна, — начал я шепотом, — бога ради!..

— Что вы сделали, несчастные, окаянные, как попали вы сюда, недостойные? — пробормотала Мария, всхлипнула, задышала ровно и тихо.

— Она спит, это она во сне, — обратила ко мне лицо Анна, слегка улыбаясь моему испугу. — Не обращайте внимания.

Она протянула руку и откуда-то из мрака подтянула стул.

— Посидите здесь. В этой комнате теплее.

— И тише.

— Да. Вы разволновались? Ничего, ничего... Сердце мое потянулось к вам, когда вы вступились за мою девочку. Она еще мала, но жизнь ее нелегка. Долго я не надеялась на счастье быть матерью, но потом... — Она говорила не быстро, подбирая слова: — Потом узнала, что бог милосерд и расположен ко мне. Но если бы тогда я владела теперешним знанием... нет, нет, не пожелала бы я ни самой дочери, ни судьбы для нее такой... пересудов, кривотолков и... Знали бы вы, как ей

было одиноко последние девять лет, а что предстоит, сколько слез и ран! Мы были разлучены, когда ей исполнилось три года, и вот встретились снова, но ненадолго, грядет новая разлука. Вечная! На вечное одиночество и поругание я ее отдам. И как же нужны ей люди, которые и через века найдут для нее слова заступничества, оберега, милосердия!

Мне почему-то сделалось холодно.

Анна встала.

— Пойду к гостям. Нехорошо, ведь они издалека, и путь им дальний. Вы побудете здесь?

— Да, хорошо, — выдавил я. Мне было не по себе и с матерью, и с дочерью, но девочка хотя бы спала.

Анна помедлила на пороге и прикрыла за собой дверь.

Не сразу решился я перевести дух. Потом вдруг ощутил, что множество свечей кажется мне сейчас множеством недобрых, подсматривающих глаз, встал и задул их все, кроме двух. Хватало и этих!

Снова сел, подставив стул поближе к Марии.

Вот попал, да? Сейчас бы тихо, тихо — вон отсюда, бегом домой, по глухой ночи, подальше от места, где бесы или боги свели меня с Сашкой!.. Да ладно, посижу, приду в себя. Все-таки дыхание спящего ребенка действует успокаивающе. Господи, а ведь сроду такого не бывало, чтоб ребенок и я... Странно, как странно! Что за откровение, пугающее, будто неожиданная седина? Чистый профиль на фоне темной спинки кресла, едва шевелятся пушинки белой шальки.

У меня нет, не было детей. Я никогда не думал о них всерьез, даже если с удовольствием тискал малышей моих приятелей. Я как бы не считал их живыми, настоящими. Они шумели и спяли, а тут... Что за тайна? Что за горе? Бедная, бедная девочка. Сама не в себе, мать, кажется, тоже, заброшенные этим своим Акимом. Меня словно бы что-то тянуло за сердце. Вот тоска, а? Немыслимая, невыносимая, не продохнуть!

Лезло в голову всякое. Помню, еще когда я был

пацаном и ходил в школу, в ту самую, что в двух шагах отсюда, была у нас в классе девчонка... я ее ненавидел все десять лет учебы. Очень высокая и бесформенная, некрасивая, со слишком светлыми, медлительными глазами. Меня бесило в ней все, даже пушистая коса, предмет злой зависти всех одноклассниц, — я готов был выщипать эту косу по волоску! Та девчонка всегда держалась в стороне, потому что была неуклюжа и не поспевала за буйной сменой наших настроений, и то как бы замирала в своей обособленности, а то пыталась пробиться к нашему коллективному сердцу. Однажды, помнится, день рождения у нее был. Она принесла огромный торт, и мы набросились на него на переменке. Я уже не говорю, что съели все, не оставив ни кусочка даже ей. Рвали нежные ломти друг у друга, будто не ели весь последний год и еще предстоял пожизненный голод. Блюдо стояло на ее парте, и почему-то все вдруг начали вырывать страницы из ее учебников, вытирать жирные, липкие пальцы, а потом комкать и швырять в эту девчонку. А я...

Думаю, не раз каждый грешил в своей жизни и потяжелее, было бы, в чем каяться, но я сейчас вспоминал только это, пока сидел и точил слезы над худенькими плечиками чужой девочки. Плакал я по себе...

А кто еще меня пожалеет? Некому. И когда еще задуматься, исполниться к себе жалости? Некогда!

Какою жизнью я живу? Захлопотанный, затурканный клерк, а вовсе не вольная птица, какими принято считать журналистов. Своим борзым перышком я свожу к общему знаменателю потребности и привычки других людей, втихомолку гордясь, что сам-то никогда не впишусь в среднестатистические прокрустовы ложа. И плачу между тем за их удобство и мягкость — для всех, кроме себя. Героям моих очерков жить свободно, сытно, тепло, они поддерживают все указы и не давятся в очередях. И тогда, вернувшись из той далекой деревни, я рассказал только про колхозников, которые с одинаковым

энтузиазмом лелеют хлебные злаки — и ростки родной культуры. И все же я иногда завидую монстрам, срывающимся с моего пера. Я принуждаю их быть счастливыми, а сам...

Ну вот, давно пора мне сдаться на милость победителя, то есть победительницы, и признать: ты опять взяла верх! Снова мысли мои замкнулись на тебя. Что бы я ни делал сегодня: бежал ли по пустым улицам, бродил среди незнакомцев, даже сторожил ли спящую девочку — я думал о тебе, безумец, допустив на мгновение, что вдруг и ты окажешься в этом пестротканом сборище, я увижу тебя, пусть даже твой непроницаемый взор отбросит меня прочь. Видишь, я уже ни на что не надеюсь. Как ненавижу я твою вытянутую от заносчивости шею, опущенные глаза — смирение твое паче жесточайшей гордыни! — и эту твою походку, которая не то манит, не то отвергает. Твои письма я берегу, нет, не перечитываю их, они замурованы среди старых журналов, да и зачем перечитывать: свет мой, душа моя, томлюсь по тебе день и ночь, целую твое сердце — я знаю наизусть эти слова, но сколько раз и кому ты успела их повторить, не затрудняясь поиском новых, ведь слаще и не найти?!

Где ты сейчас и с кем? Явись ко мне дьявол, предложи обмен — в тот же миг вошел бы в пещь огненну, только бы...

Я вскочил. Стул упал. Мария шевельнулась.

Я стоял над ней, старый дурак, едва ли не кулаком утирая слезы. Скупые мужские? Черта с два!

Злое воображение втыкало иглы мне в мозг. Где там представлять ее мирно дремлющей у телевизора! Видишь буйство крови в двух телах...

Мария приподняла голову, дремотно взглянула на меня, и тут... Нет, я уже не владел собою, одно это может оправдать меня.

Я схватил девочку за руку и ощутил странное, мгновенно возникшее родство наших пальцев... рук... душ... Все, что знал я, чем маялся и от чего горел, словно бы

устремилось от сердца к кончикам пальцев, непостижимым образом переливаясь в пальцы Марии, поднимаясь по ее руке к ее сердцу.

Глаза Марии подернулись слезой. Я крепче сжал ее пальцы.

— Мария. — Я постарался, чтобы голос мой звучал так же торжественно, заклинающе, как у Анны. — Послушай.

Взгляд прояснился. Она смотрела, будто ожидала какого-то небесного сигнала.

— Ты знаешь... Наталью? Ты видишь ее?

И самому-то мне это имя вдруг показалось неизвестным, на что же я рассчитывал, называя его?

— Да. Я ви-жу, — не очень внятно выговорила девочка, и этот шепот вовсе опьянил меня. Значит, и впрямь доступно ей некое чудесное видение! И я воспользуюсь им, не могу не воспользоваться! Заломило лоб. Чудилось, если приглядюсь, буду *видеть* и я.

— Где она? Она одна?

Мария судорожно вздохнула несколько раз. Мне бы отдернуть руку! Но я не мог. Бесы любовного томления терзали меня.

— Одна?

Голова девочки запрокинулась.

— Не-ет...

Нет... Конечно. Боже, стоило ли пытать этого ребенка, чтобы услышать то, о чем я знал и без нее!

Внезапным сквозняком ударило мне в спину. Я оглянулся.

Дверь распахнулась, на пороге стояла Анна, позади — какой-то немолодой, суроволикий человек, за ним угадывалась остальная компания.

Я замер, все еще цепляясь за руку Марии, глядя на ее мать, почему-то сразу догадавшись, что этот незнакомец и есть Аким, отец девочки, сцена же с его отсутствием, ревностью, допросом Марии — не что иное, как фарс. Зачем?!

— Нет, не фарс. Испытание, — ответила моим бессвязным мыслям Анна. Голос ее привел меня в чувство и умерил гневный блеск в глазах Акима. — Мы испытывали, сможешь ли ты так пожалеть этого ребенка, чтобы ради нее забыть о своей неумолчной боли. Ты видел, до какого состояния дошла она, выведывая отца. И все-таки передал ей и свое отчаяние.

— Я не мог, не мог... — глухо пробормотал я.

— Да мы и не виним тебя, — сказал Аким так же мягко и снисходительно, как говорила Анна. — Но это значит, что и мы не сможем взять тебя с собой.

— Меня? Куда?! — Казалось бы, первым моим побуждением должно было быть изумление, однако я...

О небо, сколько уж перемешалось и стран, и времен, и народов. Бедная моя мать, бедный отец, бедная я. Ну что же, таково Предназначение. И я уже знаю, что совсем скоро, у источника, где опущу я свой водонос, невидимо благовестит мне светлый и крылатый: «Радуйся, обрадованная, господь с тобою!»

А моей бедной матери все хочется, чтобы побольше, побольше родных душ окружало меня в моем грядущем. Сколько одежд разных эпох сменила я за краткий миг наших странствий, с тех пор, как отец и мать тайком взяли меня из храма, уже предназначенную Обручнику, этому старику, только потому, что из его посоха вылетел голубь! Путь мой будет тернист, она знает, мать.

Заставят меня пройти испытание «водой ревности», пить грязь, чтобы невинность проверить мою. И пряхой меня назовут, которая родила своего горемычного дитятю от беглого римского солдата.

Множество детей станут моими. Слезы мои породят на земле цветы и травы... Я переживу своего сына. Это уже было, это еще мне предстоит. Я иду по вековечному колесу, а кто вращает его? И моя мать мечется во време-

ии и пространстве, разыскивая и заклиная вековечных защитников моих.

Саломея из Назарета! Сначала ты охаешь меня, и руку тебе иссушит твое неверие. Но коснешься новорожденного моего сына — и тут же исцелишься, станешь верной спутницей моего имени.

Некий Иоанн провидит меня, назовет он меня, изрекши: «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения».

Потом века минут и еще многие века, и вдруг явится миру духовидица Екатерина, почитающая раны сына моего распятого за свои, та, что сердцем увидит всю жизнь мою и укажет место в Эфесе, где закончилась моя земная дорога.

И еще будет черноризец Даниил, он придет из тех земель, где мы ныне, в Иерусалим, Назарет, Вифлеем, а потом расскажет про жилище святого Иоакима и Анны. А латинянин Алессандро запечатлит мое девство, и неведение, и светлого провозвестника. Славянин же Андрей будет зорче — он увидит скорбь вечную мою.

Всех их испытала моя мать на верность мне. Нет, не мне... Чистоте, самоотречению, вечному прощению и жалости, побеждающей обиду, алчность, себялюбие. Иногда мне чудится, что судьба моя не в том, что обо мне знают все, а именно в страдании во имя пробуждения души каждого, кого встречу по воле матери. И каждая такая встреча — будто короткий, беспокойный, порою страшный сон. Но уже скоро, скоро отмерится срок, данный Акиму и Анне, скоро возвращаться нам во храм, к жизни обреченной. А пока все они здесь, кто не забудет во мне живую, измученную... И за них, и за других буду я молить сына моего, проливая слезы: «Прошу я за род христианский, за тех, которые крестились во имя твое святое». Но ответит мне сын мой: «Как же я помилую их, когда они братьев своих не миловали?»

...Казалось бы, первым моим побуждением должно было быть изумление, однако я испытал вдруг ощущение такой потери!.. А старый дом на улице моего детства вдруг загудел, задрожал, словно время промчалось над землей, сотрясая камни и бревна. Все двери и окна с громом распахнулись настежь. И я увидел, как меняются новогодние гости.

Словно бы маскарадные костюмы надевали они... нет, точнее сказать, они срывали с себя серые маски моего времени, облекаясь естественными для них и привычными одеждами: тогами, рясами, рубищами, пышными платьями, запачканными краской блузами... Их лица менялись тоже, обретая строгость и вдохновенность. Я не успевал рассматривать новые и новые диковинные фигуры, а они — они начали таять! Таять! Их становилось все меньше и меньше, будто ночь вбирала их, чтобы вернуть тому времени и пространству, у которого они были похищены матерью, измученной грядущей судьбой дочери до того, что сама она забыла о жалости к ней... Как это все близко не только на земле, но и на небесах: жалость и жестокость!

Ветры метались по комнатам старого дома, вздымая края одежд и пряди волос, люди исчезали один за другим, в моем мозгу словно бы некий таймер трещал, отбрасывая десятилетия и века.

Взор мой кидался по сторонам. Не было уже и Сашки. Куда, на какие высоты он взлетел? Он-то за что же? Ужели и этот вековечный недотепа с честью вышел из испытания, которого не вынес я? Или для него Анна назначила иную проверку? Как же узнала она, за какую ниточку надо дергать меня? Кого-то нужно проверять страхом. Кого-то злобой. Кого-то богатством. А меня, значит... Выдержи я — куда бы забросила меня судьба? Что ожидало бы на этом поприще? Бесчестье, слава, смерть, позор, восторг? Мне не узнать, никогда не узнать, я не сдал экзамена.

Остается пожизненное угрызение: почему я был удо-

стоен чести, бремени которой не смог снести? Значит, есть что-то во мне? было? — чего я и сам никогда не знал о себе? Смешно же — и страшно! — представить, что единственным *достойным* в моей жизни поступком была тогда, много лет назад, попытка вступиться за ненавистную мне девчонку. Благодаря этому я и заслужил право на экзамен? И все? И больше не за что? А слова, сказанные и написанные мною? О-о!..

Те трое — Анна, Аким, Мария — стояли среди вновь возгоревшихся свечей, меж провалов зеркал, с жалостью взирая на меня, лишенного...

Откуда, из каких далей возникли они, на какие ветви древа жизни опускались перевести дух? Кто даровал им право вертеть стрелки вечных часов? Для чего возмутили мою совесть?

— Постойте! — крикнул я.

Но поздно. Их уже не было. Последний раз отразились в зеркале печальные брови и сжатые губы.

Темная улица лежала передо мною... Но мне показалось, что я еще увижу Марию!

Она, в своем хождении по огненным рекам, где вечно мучаются, увидит лежащего человека. Страшные звери будут подходить к нему и терзать его тело. И заплачет она горькими слезами, и спросит: «Кто он, в чем грех его?» И ответит ведающий муками: «То книжник. Он творил волю божию и поучал народ в законе божием, а сам не ходил в законе».

Возможно, это буду я.

ВОЕННЫЙ ПОХОД ПРОТИВ ЮЖНОГО ВЕТРА

Едва занялось сияние утра,
С основанья небес взметала черная туча.
Адду гремит в ее середине...
Из-за Адду цепенеет небо,
Что было светлым — со тьму обратилось.
Вся земля раскололась, как чаша.
Первый день бушует Южный Ветер,
Быстро налетел, затопляя горы,
Словно войною, настигая землю.

О все видавшем

Я гляжу на него — и узнать не могу я,
Я гляжу на него — и понять не могу я,
Я гляжу на него — и не ведаю, кто он.

О все видавшем

Плотина Небес хребтом круговым опоясала Землю. Над нею металлом блистают небесные своды. Их три, или пять, или больше... Река Океан носит Землю на водах своих. То с любовью колышет, то злобно швыряет дитя эта буйная нянька.

В Плотине Небес есть чудесные горы. Одна на другую, как близнецы, эти горы похожи. Имя их — Машу, а между ними — врата, на страже которых стоят скорпионы-люди. Через эти ворота солнце свой путь ежедневный свершает по небу.

В этом пути взоры оно обращает на город, имя носящий — Ворота Богов. Сей град достославный — воистину так! — правлением Уртасарана был вознесен на высоты величья, богатства и чести. Едва ли вражьему воину удастся пробиться сквозь панцири врат, сквозь стен чешую и сеть многочисленных улиц, где за каж-

дым углом могла поджидать его гибель! Ни всадник, ни лучник, ни колесничий преграды не одолели б. Один превозмог неприятель ее — Южный Ветер...

Осада его, точно смерть, терпелива. Упорна, будто волны колыханье. Настойчива, словно сияние звезд в безлунные ночи. Неумолима, как воля богов. Неужто Эллиль, господин и владыка течений воздушных, наслал на людей этот яростный мор — обуянный злобою вихрь? Или Шамаш, бог солнца, свой взор благосклонный отворотивши от рода людского, напустил семь ветров своих разом не на спасенье, а на погибель?

Южный Ветер в уныние поверг Ворота Богов, с пылью смешал его внешние стены, обратил жилища в холмы и руины, прахом крыши засыпал. Страхом правому сердце наполнил, виноватого в ужас поверг. Тех, кто грешен, и тех, кто безгрешен, он испугал. Приносящих жертвы жрецов, царских слуг и придворных, воинов в шрамах и девушек юных он устрашил. Но никак не хочет покою, словно с турицей тур буйствует плотью! Снова и снова он веет, истребитель ужасный, опустошает равнину, песком засыпает русла каналов. Его дыхание — гибель...

Длится, до бесконечности длится Сухости Время: не от нисанну до абу, как издревле было, а до улулу, ташриту, до арахсамну *...

Аруру, Небесная Мать! Или ты спишь на Великой Горе мирозданья? Или блаженство вкушаешь в Дельгоре мирозданья? Или блаженство вкушаешь в Дельгоре мирозданья? Люди, дети твои, чахнут под куг, обиталище божьем? Люди, дети твои, чахнут под куг, обиталище божьем? Люди, дети твои, чахнут под знойным дыханием Ветра! Пусть они грязь из-под божьих ногтей — все же творение ваше. Смилуйтесь, Эйки, Ану, Иштар! Пожалейте народ свой! Отвратите Южного Ветра злодейства!

---

* Время Сухости по древневавилонскому календарю — период от середины марта до середины июля.

Нисанну — март—апрель, абу — июль—август, улулу — август—сентябрь, ташриту — сентябрь—октябрь, арахсамну — октябрь—ноябрь.

Боги совет свой послали в огромные, чуткие уши жрецу по прозванью Эсагилкиниубби. Жрец-заклинатель, способный услышать божественный голос, колени у трона склонил и повел речь такую:

— Царь благородный, послушный Шамашу, защита страны, западня для врагов! Требуют боги, чтобы в поход ты свою колесницу направил, меч бы подъял и копье навострил против Южного Ветра. Храм бы его отыскал, осадил, приступом взял и разрушил, огнем бы спалил и с землею сровнял. Ты, сокрушитель всех стран четырех белого света, возвеличить призван богами имя державы своей, вновь доказать, что достоин жезла своего и короны, о любимец богини Иштар!

Сердце взыграло, возвеселилась печень Уртасарана-царя. Мнится ему, что второй он Адапа — мудрейший, искуснейший и безупречный. Сети того уничтожил когда-то дерзец Южный Ветер, но легендарный Адапа в отместку крылья ему обломал. Сказки слагают об этом... Не так ли и Уртасарану боги пророчат победу над Ветром? А потомки сосуды из алавастра распишут картинами славных сражений...

Все! Решено! Прочь сомненья и прочь колебанья! Шамаша луч золотой пусть цицовкою будет победителю Южного Ветра!

Горожан всех до единого кличут на площадь. Царскому зову послушны, сбираются люди. Уртасаран произнес свое слово:

— Пусть в дом возвратится тот сын, что мать одни кормит. Пусть и семейства глава площадь покинет. Лишь одинокие ярые буйволы в этом походе подмога! Позабудьте на время молоты, косы, гончарные круги. Ныне мотыгу секира заменит. Сияние славы — да озарит ваши лица!

Лишь только солнце себя увенчало лазурью на утреннем небе и в путь свой отправилось вечный, Уртаса-

ран козленка в жертву Шамашу отдал, руки к устам в молитве поднес и воскликнул:

— Мне, о Шамаш, военная слава привычна. Многих я в плен уводил чужеземцев, увозил их богов. Многие жизни, что дороги людям, я обрезал, будто нитки гнилые. Горячие кони упряжки моей в кровь погружались, как в реку. Ныне стремлюсь я в поход против злобного Южного Ветра — будь мне союзником, ясное солнце!

Царь облачился в доспехи и шлем — украшение битвы, на колесницу высокую встал, лук свой могучий взял в руки — в ярости сердца готов хоть сейчас супостата низвергнуть!

И, саранче быстролетной числом уподобясь, вышло из города войско, пылью от ног застилая высокое небо. Лучники, конники и колесничие к бою готовы: крючья, и шилья, и топоры, сети, арканы, веревки они припасли для грядущего штурма. Грива коней боевых умащена и завита. Шлемы блестят позолотою под ярким солнцем!

Поприщ * немало прошли очень быстро через пустыни и горы, через обрывы крутые, ущелия и водопады, изредка лишь садясь при дороге воду испить из бурдюков для утоления жажды. Путь был опасен и труден — меж трав безобразные шмыгали гады, с неба грифоны, львы-птицы, грозно косились, землю крылом осеняя, не в силах, однако, страху нагнать на идущих с мечами. Чудилось, в мире нет мощи, что путь им закажет! Однако...

С основанья небес появилась вдруг черная туча. Чудилось, Адду, грозы покровитель, стрелы на землю пускает! Чудилось, Нуску, бог зноя, их ядовитым огнем напитал! Горы вокруг сотряслись, и в далекой дали им откликнулось штормами море. Небо вопиет, земля от-

---

* Поприще — расстояние, примерно равное двум часам пешего хода по ровной дороге.

вечает, и нет избавленья от смертоносного взора Южного Ветра! Словно хрупкая чаша, земля сетью трещин покрылась и расколоться готова. Свет не отделишь от мрака, и нету спасенья очам, нет воздуха глотке, утешенья нет сердцу от лютого страха. Ниспровергает людей обезумевший ветер. Щиты, колесницы, коней в воздухе вертит, против людей обращая их дротики, стрелы и копья, что летели в него. Множество тел изрешетил, погубил все живое вокруг. Редеют ряды доблестных воинов, голов поднять люди не смеют, сбились, как псы под дождем, страшно воют от близости смерти. Сколько ушло их путем без возврата — и не счесть в этой бурище черной!..

Так вот бесславно поход завершился.

Ярость стихии лишь ночь усмирила. Замерли бури наскоки и ветра хлестанья. Син, бог луны, в темноте засветил свою бледную лампу. Но видят полуслепые от страха и пораженья: этому свету откликнулось что-то с земли тихим сияньем. Ежели правда, что говорят звездочеты, будто звезды и солнца — лишь отраженье того, что на земле существует (недаром созвездьям даны и названья земные: Лук и Ярмо, Крестовина, Дракон, Колесница, Коза, Овен и Змея), — значит, что на земле и вторая луна пребывала от века? Не она ли мерцает?

Чудо утишило боль, кровь затворило и слезы утерло доблестным воинам Уртасарана. Вперили взоры во мглу и не дышат, словно дыханьем неведомый свет могли б загасить. Очи привыкли ко тьме — и страх возвратился обратно: там, далеко, где земля, как фундамент, стену расписную неба ночного подъемлет, храм увидали они! Глава того храма в тучи вонзилась, что в верхнем ярусе неба дожди в себе копят. Стены его растворились во мраке. И одна мысль всех вдруг разом пронзила, словно стрела великана: здесь обиталище Южного Ветра!

Шепот пронесся над войском, и обернулся он воплем безумным:

— Вижу! Я вижу! Храм этот с крыльями, словно бы птица!

— Да, он парит над землей, небеса он колеблет!

— Нет, он мечу заостренному всем своим видом подобен!

— О, не рукой человечьей ту сталь шлифовали! Блеск ее взрезал глаза мне и мозг опалил!

— Падает меч, словно бы головы всем нам сейчас он отрубит! Спасите! Спасайтесь!

— Нет, это злобный лик божества, что на землю спустилось. Пламя в ноздрях — и в очах его пламя. Волосы копьям подобны!

— Одну только пасть, что в усмешке разъята, я вижу! Ой, проглотит, проглотит меня это жерло!

— Посмотрите! Исчезли вражьего логова стены, словно бы тьма их слизнула! Чудится, сам себя свет источает!

И каждый храм тот по-разному видел, и каждого ужас терзает нещадно...

...Едва усмирив биение сердца, слышит Эсагилкиниуббиб: государь его кличет.

— Друг мой, о чем говорят нам великие боги? Неужто вспять повернуть от этого храма? Или решиться к осаде его приступить? Как же нам действовать, о большеглазый, а значит, всевидящий, о большеухий, а значит — умеющий слышать речи богов?

Царь говорит свое слово — ищет он слова жреца. Но не ответил Эсагилкиниуббиб...

— Много я видел врагов, — государь продолжает. — Будь этот вихрь человеком, царем, я устрашил бы сердца его воинов, в разгаре сраженья живыми бы их захватил, я бы убил их, а трупы повесил на колья, а все ребро, злато, утварь и драгоценные камни, ложа и троны из кости слоновой, шкуры, сурьму и самшит, и до-

черей, и певиц, и певцов, и наложниц в город отправил бы свой...

— Или уснул твой дух-покровитель, — резко вдруг жрец перебил, словно Эллиль простер над ним руку, грубость простив не по чину, — или ум твой высокий бредням глупца уподоблен? На что ты мысль драгоценную тратишь? Нет пользы в мечтаниях этих! Тот, с кем сражаешься ты, — богатырь! Его зубы — драконы, лик его львиный, глотка — ревущий поток, тело — жгучее пламя. Несокрушима сила его! Ты ж на песке победу рисуешь, будто дитя!

Крепко разгневался Уртасаран и промолвил сурово:

— Не позабыл ли, о жрец в одеянии длинном, что сам ты подвигнул войско мое на бесполезную битву? Сам внушил ты мне мысль выйти в поход против Южного Ветра!

— Был он угоден богам, — жрец так царю отвечает, — а теперь им угодно иное!

«Боги изменчивы, как будто жены!» — Уртасаран так подумал, а вслух произнес со злою усмешкой:

— Разум твой — северный ветер, дуновенье, приятное людям! Не поскупись, сообщи, что ж еще тебе боги шепнули? Если во граде моем всякий увечный и хворый на площади вправе возлечь и прохожих советы услышать, как исцелить язвы свои, верно, и я, государь и правитель, могу разузнать о богов совещаньях!

— Боги велят мне слово сказать господину Южному Ветру, — жрец отвечал неохотно и вышел из царской палатки.

Страх свой скрепив и наполнив отвагою сердце, руки простер Эсагилкиншуббиб к обиталищу Южного Ветра и возопил, воздух ночной сотрясая:

— О господин Южный Ветер! Боги вложили тебе беспокойное сердце, дали мощные крылья. Но если самый могучий и самый славный не сознает деяний своих, его Судьба пожирает — Судьба, что не знает различий! Или открой, дань какую наложишь ты на Ворота Бо-

гов, и отпусти ты нас с миром, — или стану просить я богов страшно тебя покарать, за наше отмстить поруганье. Ведомы мне злобные, черные, мрачные травы, рожденные ночью! Ими засеять я умолю твое ужасное ложе, дабы смешались мысли твои, помутился рассудок. Я соберу все сновиденья злые, как собирают части, чтоб целое стало единым, и нагоню их тебе, на твою на погибель, ежели тотчас ты волю свою не объявишь: чего тебе от нас надо, за что осадил ты нас гневом и злобой своею? Ответь. заклинаю, душою небес, душою земли, душою недр заклинаю!

Долго царили вокруг тишина и безмолвье. Песок блистал под луной, словно алмазы сокровищниц царских, словно почва тех стран баснословных, где белые перья порою студеной в воздухе веют, на землю белым покровом ложатся и начинают блистать, ослепляя глаза человека... Видит Эсагилкиннуббиб: над краем пустыни, где храм Ветра менял свои очертанья, мелькнуло лицо великана. Оно остротою подобно ножу, что взрезает пространства, как режут барана для жертвы! Луч его взгляда сквозь стрелы ресниц начал к жрецу подбираться.

— Ужаса луч! — раздались восклицанья. — Луч смерти!

Света полоска на выбритый череп Эсагилкиннуббиба легла, словно лаская. Пот покатился с чела. Содрогнулось, как у болотной рыси при виде охотника, сердце его и застыло...

Луч задрожал и погас, и снова потряс темноту вопль жреца:

— Южный Ветер изрек, что из града Ворота Богов желает жену себе выбрать! Такой он назначил нам выкуп.

В граде Ворота Богов чудный храм существует от века. Весь окаймлен садами висячими он, террасы уступами храм подпирают. На тех на террасах девы лучших

семейств достославного града служат богине Иштар. Любой чужеземец, города гость, может за плату похоть свою утолить. Странен обычай, но свято блюдут его девы. Замуж, пожалуй, не выйти дочери знатного рода, коли единожды в жизни она не возляжет за деньги. Не станем судить сей обряд: мудрец не напрасно обычай — царю меж людей уподобил!

В храме самом служат жрицы званьем повыше. Их называют женами бога. Да, уверяют, Эллиль ночью во храм тот нисходит. Так говорят... Что же на деле бывает, знают лишь боги на небе

Этих божественных дев, искушенных в утехах любовных, этих священных блудниц, с поцелуями звезд на груди, и привезли по приказу царя и жреца наставленью спешно, стремительно и неотложно прямо в пустыню, к горам, где обитал Южный Ветер. За лошадьми верховыми, что везли родовитых красавиц, шел караван. Одежды, и сласти, и драгоценности, золото, утварь, шелка дорогие, перья, заморские вина, масла, благовонья — все, что приданым зовется, он быстро доставил. Также служанок, рабынь, музыкантов, рабов и певиц... Кто в дом жену принимает, тот принимает заботы, будь это смертный — иль сам господин Южный Ветер!

Стали красавицы в ряд, перед храмом того, кто супругом отныне им будет: Банат-Иштн, Геменлила, Белилита, Асат-Дигла... Венки, короны, повязки, заколки, подвески, ожерелья, браслеты тихо и нежно звенят, словно бы ветер летает между цветов с лепестками из меди узорной. О, как прельстительны девы-блудницы! Красотою славны и полны сладострастья, отраду сулят их движенья и взоры. Мертвого с ложа покоя в свои объятья заманят! Где устоять распаленному Южному Ветру. Примет, примет прелестниц в объятья этот неистовый муж быстрокрылый!

И вдруг... вновь стеною, лавиной, волною пошел на людей ураган. Словно бы он недоволен невестами, коих ему предложили! Как оскорбителен этот ответ, как не-

вежлив! Чудится, демоны, малые или большие, как острые стрелы, во мраке летят! Будто веревки, которыми боги планету к небесам прикрепили, вот-вот порвутся, так сильно их раскачал Южный Ветер, колышки вырвать грозя, Млечный Путь заметая.

Бедные девы рыдают так громко, что заглушают свист ветра. Словно кудель, он власы раздирает, глумясь, срывает одежды, будто ищет изъяны в нагих...

Эсагилкиниубби тут упал на колени, руки отчаянно он простирает в пустыню:

— О господин Южный Ветер, владыка небес! Драконом могучим назвать тебя я бы решился. Словно моря, твои беспредельны покои. Ты прочитать можешь символы звезд. Каждый твой вихрь — совершенство, оно заставляет умолкнуть жалких людишек из глины и пота. Тщетно терзаемся мы в размышленьях: какой жены тебе нужно, если отвергнул ты этих?! Или ты девственниц любишь? Дай только знать! Или старух? Или пери из сказок персидских ты хочешь? Может быть, молодую ослицу?! Или Уртасарана любимую дочь? Отрока нежного?! Иль из Египта велишь жену фараона доставить? Воли твоей не понять, не распутать желаний твоих прихотливых. Новый дай знак: кто тебе благоугоден на ложе твоем?..

И тишина воцарилась. Курился песок в тонком белом луче, что снова послал Южный Ветер. Ужаса луч... Но — вниманье! Куда направляется он?

О, посмотрите! Луч миновал равнодушно блудниц именитых... Словно с насмешкой, ощупал приданое их... Пошарил между рабынь и служанок притихших... И внезапно — Великое Небо! Великие Недра! — внезапно расширился и засветил во всю мочь, словно неведомый кто-то радостный возглас издал: «Нашел! Поглядите!»

Поглядели... Луч озарил, словно в бриллианты оправил невзрачную беловолосую девку — рабыню служанки, что для священной блудницы Банат-Инин чистила

таз золотой, где прелестнице ножки ее обмывали от пыли.

Рабыня служанки... Рабыня — избранница Южного Ветра!

Воины, девы, рабы, царь и жрец ее вмиг окружили, взоров не сводят с нее изумленных, пряча усмешки при этом.

Ну и невеста! Ну и красавица! Если б нарочно искали похуже, трудно было б такую сыскать на земле!

Слишком уж костью крепка — к тяжелой работе привычна. Слишком худа — вволю не кормят рабов. Ростом под стать воину, мужу. Взгляд светлых глаз, как у совы, неподвижен и злобен. Косы — веревки из пакли. Загаром сожженные руки, а лицо — бледнее луны темной ночью. Уродка!

Ростом малы, и круглы, и волнующи пышностью стана, огненны взором, упруги бровями, черноволосы, смуглы дочери града Ворота Богов. Нет же, выбрал себе Южный Ветер!..

Словно бы молнией каждую деву пронзило — молнией зависти злобной. «Как! Не меня поманил бог на ложе свое, а рабыню?!» Пусть ее участь страшна, но завидна. Зависть тотчас же порочить и поносить вынуждает сей жребий:

— Наверно, лик Южного Ветра уродством подобен змее, что в кольцо между лоз виноградных свернулась. Пожалуй, жены муж достоин!

Эсагилкиннуббиб взглядом пресек эти речи и сладкоголосо промолвил:

— Имя свое мне открой, о светлейшая дева, что подобна величьем и статью богам, а ликом — звезде, украшающей солнца восходы!

— Нирбия, — буркнула глухо рабыня, взгляд недоверчивый в темные очи жреца устремляя.

Воины между собою шептались, от смеха давились:

— Может, он думал, что эта красотка мужчины от роду не знала и девство в приданое он получает? Известно, однако: сей драгоценный жемчуг не раз был просверлен!

Нирбия смотрит затравленным взором, а жрец напевает ей медоточиво:

— На «табличках судеб» у Эллиля жребий твой обозначен прекрасный — ты будешь возлюбленной Южного Ветра. Пред ним ты одежды свои распахни без стесненья! Избрана — ты. Следуй в храм жениха, о невеста!..

— Ежели я соглашусь, пусть пожрут меня псы! — завизжала невеста. — Взгляд его смерть! Мне не надобно мужа такого! Ты бы еще предложил мне к Ламашту — львиноголовой богине, что из преисподней болезни наводит, — поступить в услуженье!

Эсагилкиннуббиб ушам своим не поверил и головою тряхнул, чтоб прогнать наваждение.

— Ты... грязь под ногами! Мутная лужа! Все прегрешенья и скверны твои мне известны, подстилка для воинов храбрых! Что бережешь, какую ты честь охраняешь? В кои-то веки боги тебе снисхождение и очищенье даруют, а ты ерепенишься, девка? Не пойдешь — тебе колодки для рук и колодки на шею наденут, одежды с тебя совлекут, изольют в твое лоно кипящей смолы — и земля содрогнется от воплей твоих покаянных, да будет уж поздно!

Нирбия даже зажмурила очи, а потом расцарапала косы ногтями, словно острой гребенкой, и завизжала пронзительней в тысячу раз:

— О злой демон Лабасу! Колючка ты в водах вонючих и мутных! Я плюю на тебя — пусть сейчас же слюна ядовитою станет, пусть прожжет, уязвит и ужалит тебя, словно змея!

Храбр был Эсагилкиннуббиб, но прикрыл он руками лицо, от магии слов и яда плевков защищаясь. На помощь ему подступили, однако, священные шлюхи: Ба-

нат-Инин, Гемеилила, Белилита, Асат-Дигла, открыли розы-уста:

— Ах ты, сандалия, жмущая ногу! Коль не исполнишь желания Южного Ветра, пусть никогда не устроишь себе ты дома на радость! Пусть не одарят за ласку твою, а отымут последние бусы, и платье порвут от груди до подола! Пусть не в постели, а под заборами и у порогов, на перекрестках дорог тебя всякий прохожий валяет!

Нирбия рот раздирает в рыданьях, тело царапает, рубище рвет, задыхаясь от злобы и страха:

— Нет! Не хочу, не хочу, не хочу, не пойду!

Уртасаран, позабыв о величье и сане, приблизился к девке, светлую, царскую руку ей возложил на жесткие кудлы:

— Любодеица, землю мою ты спаси от погибели страшной! В память я повелю изваять кумир твой, каких не бывало от века. В полный рост будешь явлена ты на подножье из камня. Власы из лазури и алебастровый лик, из золота тело будут воспеты в сказаньях и песнях!

Словно порей-лук, растрепаны Нирбии косы, голос медью звенит, ужасная ругань венчает царя:

— В щелях дворца твоего пусть поселятся совы пустыни! Я рабыня во граде твоем, дочь я рабыни, я не знаю страны своей северной, дальней — и не хочу умирать за Ворота Богов, чьи воины нас увлекли в эти жаркие страны! А грязный позор мой — цена одной жалкой лепешки, что мать удержала когда-то от смерти голодной... Тебе ли меня соблазнять золоченым кумиром за гибель мою, вечно сытый, роскошно одетый властитель над жизнью и смертью? Я под стопою твоей добна песчинке, но не дождешься, что побреду я покорно, словно овца на закланье, к этому чудищу в жены. Пусть я блудница, однако пока что сама я мужчинам давала согласье, сама выбирала, с кем пойду на часок или на ночь!

Царь отшатнулся и меч обнажил свой во гневе, но жрец опустил разъяренные очи и, усмиряя себя и других, произнес, как бы плача:

— Кто, о прекрасная Нирбия, из нас рожден был навечно? Боги — бессмертны, а человечьи дни сочтены и недолги. Все вздохи, стенания, жалобы, слезы уносятся ветром бесследно. Но каждому все-таки свой срок назначен, и горе, коль он преждевременно прерван! Если ты не даруешь согласия Южному Ветру, из глубин преисподней поднимет он мертвых, чтобы живых пожирали они. Знаешь ведь силу его ты и ярость! Дети и матери — все будут кровью залиты... Проклято, Нирбия, станет тогда твое имя, коль ты могла всех спасти, да вот не захотела...

Нирбия от его слов содрогнулась, примолкла. Скорбью затмилось лицо...

— Слышала я от старух, будто прежде, еще до того, как боги лепили людей и пускали на землю, люди росли под землей, как трава, не зная печали. О боги страны моей дальней! О Шамаш могучий! Молю, превратите меня в траву полевую! И зацеплюсь я корнями за землю, оплетусь вокруг камня, чтоб не сорвал меня вихрь. Если же выдернет буря меня, то на волю ее я покорно отдамся — вдруг меня с юга на север она унесет, туда, где небо просторней и выше, где солнце не жжет, а ласкает, где родина предков моих, где иные названия сущность имеет людей и природы явленья... Но не судьба мне, я вижу, и в землю врастать, и летать в поднебесье. Никогда я не видела счастья и не имела Ламассу *!

Идущему дальним путем стала Нирбия ликом подобна, и понял Эсагилкиниубби: согласна рабыня! Получит свое Южный Ветер!

Тотчас статуэтку Иштар средь песков девы установили. В курильницах жгли кипарис благовонный, пиво

---

* Ламассу — дух-покровитель.

в жертву богине излили и трижды свершили поднятие рук, воспевая:

— Как хорошо молиться тебе, какое благо тебя увидеть! Воля твоя, будто светоч, над нами. Помилуй всех нас, Иштар, до́лей ты надели и нашу сестру, что к Южному Ветру уходит. Укажи ей дорогу и одари благодатью. Она влачила твое ярмо, о богиня, верно служила тебе — пусть же отдых заслужит в объятьях законного мужа, во здравии плоти, веселии сердца. Продли ее дни и жизни прибавь. Пусть небеса твою щедрость восхвалят. Благословенна богами Вселенной будь, о Иштар, — и нам сердца успокой!

И начался обряд облаченья нелегкий в одежды, достойные тела. Силы ее подкрепили пьянящей сикерой, всю умастили елеем и кипарисовым маслом. Краска легла на усталые веки, золотые сандалии облекли ее ноги. Лента налобная ей чело украшает, ожерелье зу́рное шею ласкает. Подвеска украсила грудь, запястья обвили руки. Стала нарядной она, словно юная дева, но чудилось всем, будто смерть уже исказила черты ее лика...

В жалобах сердца она плакать просила равнину, болото и реку:

— Если бы матушка вдруг живой оказалась, она голосила б по мне, и мне пропадать было б легче...

— Смотрите, уходит, Нирбия пыпче уходит от нас, — хором девы запели. — Покинула землю, покинула небо, подруг и мужчин — от всех сегодня уходит она в храм Южного Ветра...

...День догорал. Скоро Иштар* в небесах лик свой явит. Нирбия к храму приблизилась, белого света не видя. Демоны злые ее одолели, призраки душу томят. Это страх... Никому не известны пути из Страны без возврата, гостя назад не отпустит ее владыка Иркалла...

---

* Иштар — богиня любви, здесь — звезда Венера.

Близится вход в царство мертвых — в храм Южного Ветра. Быть может, с небес храм спустился, великие боги его создавали?.. Блеск его облаков достигает. Но нет у входа крылатых быков Ламассу и Шеду — страшно войти в эти стены, жутко под сводом его оказаться без покровительства духов добра и согласья! Верно, иные здесь обитают созданья: те, что не ведают жажды, есть никогда не хотят, жен не ласкают, детей не плодят — демоны смерти! Ох, ящеркой бы проскользнуть меж ворот! Или сыскать колодец, подземный источник, чтобы в реку Океан уходил, — к водам его прикоснуться, рыбкой уплыть от сетей, что Нирбию здесь ожидают.

Напрасны мечты! Эллиль уготовил людям судьбину печали с тех пор, как названия дал всему в мире, и никогда не щадит человека!

Дорога темна впереди. Солнце последний свой луч уронило и отвернуло от Нирбии лик. Что же делать?.. Смириться. Всесильны законы Страны без возврата.

«Если захочешь уйти из подземного мира, нужно, чтоб умер кто-то другой за тебя, как за Иштар — Думузи*. Никто другой за меня не умрет... Ну что же! Свершенья судьбы отдалять я не стану. Бог мой со мною пусть справа пребудет, а слева пребудет богиня моя!»

Чудится Нирбии — руки в молитве кто-то сложил; таковы очертания сделались храма... С духом собравшись, под своды вступила она. Мало что видно в густой темноте. Затаилась во мраке, слушает голос его. Снова пошла... Вдруг будто чье-то дыханье коснулось, лаская, лица — и стало светло и просторно глазам.

Словно в лесу из каменьев бесценных Нирбия бродит, касаясь стволов из граната и яшмы. Измарагд листьями ей что-то шепчет. Лазурит, сердолик расцвета-

---

* Думузи — пастух, супруг Иштар. После бегства богини из подземного царства демоны ввергли его туда вместо нее.

ют, радуя взор. Все спокойно. И нет никого, кто желал бы, тело ее истерзав, душу отнять и похитить навеки.

Нирбия ждет, озираясь, уже забывая о страхе. Бескрайни покои и ложе роскошно под сводами из халцедона. Она возлегла... Кто взойдет вслед за нею на ложе?

— Он выбрал из многих меня... Почему? Я не знаю. Быть может, ему показались прекрасными светлые косы? Быть может, в синих глазах разглядел он небес отраженье, как в тихой реке, — и пленился? Всегда уродкой, что дешево стоит, себя я считала, малую плату просила с мужчин, красотой не кичась. Отчего ж Ветер Южный лишь меня захотел среди прочих? Может быть, он один толк в женской красе понимает, а не люди, кои дурнушкой меня называли? Как завистливо девы-блудницы очами сверкали! Волю им дай — растерзали б на части.

А вдруг я красива, только не знала об этом? Сравнима ли с яблоней в белом цветенье? С облаком в небе? Звездой на заре? Стоном струны, что поет о томленье любовном?..

А каков он — избравший меня среди многих? Он — порожденье неба, пустыни или моря? Взоры вздымает он — горы колеблет, их взглядом пронзает, огненноокий владыка! Наверно, буре лицом он подобен... А буря бывает страшна — и прекрасна. Быть может, прекрасен и он? Ураган — его голос, уста его — пламя, дыханье — смерть, а каковы поцелуи его и объятья? Крепки, будто камни с небес? Наверно, не знает покоя в любви ни днем он, ни ночью? Бесконечны ласки его, будто смерть — или жизнь? В его поцелуях я выпью воду жизни безбрежной и вечной... О, достоин возлюбленный мой венцов из сапфира и аравийского злата, ожерелий, браслетов жемчужных!

Но... что ж ты молчишь, господин мой, что медлишь? Излей в мое сердце любви молоко! Как сладостно мне, что ищущий взор ты ко мне обратил, лишь для тебя обнажила я бедра и душу... Скорее приди! Лунный свет и солнечный жар источи в мое лоно! Я обниму тебя, ми-

лый, как никогда никого я обнять не могла бы. Колются руки, колени и груди, когда нелюбимого гостя к себе прижимаешь покорно. Тает тело мое, словно масло, тебя вожделея!

Где ты? Как же привлечь тебя, зачаровать, заманить на это высокое ложе? Как отыскать быстрокрылое слово, что сердце пронзит стрелой-тростником и любовью? Где ты, о ком мечтала я в снах, обливая слезами постель, где храпел посетитель случайный?

Ты не идешь... Видно, я возжелала, чего не бывало от века, с той поры, как солнце взглянуло на землю впервые. Любоденца, девка, блудница — вдруг возмечтала о счастье! Ох, ну зачем же вознес ты меня на вершину души — и безжалостно в пропасть столкнул? Нет, тосковать, слезы лить — моя доля. Он, мой любимый, получше ко мне пригляделся — и понял: *такая* его недостойна...

Слезы, рыданья, стяните петлею мне горло! Мгла, затяни поскорее роскошные эти покои, где не дождаться мне счастья! Смерть, человека удел, поспеши, ляг со мною на ложе печали...

Долго Нирбию слезы томили, пока не повергли в сон тяжкий. Сон — а во сне сновиденья...

— Ну довольна? Наигралась?

— ...

— Чего молчишь? Пожалуйста, что хотела — получила, насколько это возможно во сне. Эпоху, страну, религию, предрассудки, войну, жертвоприношение, мифологию — «Сновидец» четко сработал.

— Это совсем не то. Я же не думала, что она такая бесстыжая.

— Она?! Господи, да в чем тут бесстыдство?

— Конечно, конечно, тебе ведь приятно, что эта особа тут разлеглась пред тобою! Если б она тебя увида-

ла, пожалуй, решила, что ты и есть господин Южный Ветер!

— Знакомый ритм, а? Стихосон и на тебя произвел впечатление? И вдобавок ревнуешь? Ну, милая, ревновать ко сну, да еще который ты сама вынудила смотреть...

— Да, я. А «ужаса луч», изменчивость очертаний храма — это уж твое изобретение. Не можешь без техники! И, между прочим, жену для Южного Ветра выбрал ты, именно вот эту, вот ее! Мне-то было все равно, какая придет сюда. А она тебе понравилась, не отрицай!

— Ну... Как сказать... Просто она совсем другая, чем эти черноокие красотки, очень выделялась из всех, хотя там, значит, ее не считали красивой. И еще мне показалось, что она похожа на тебя. Ты присмотрись.

— Спасибо, ничего себе комплимент!

— Ну уймись, хватит злиться. Лучше подумай, как теперь быть с нею.

— А что такое?

— Ты видела — она ведь плакала, пока не уснула.

— Господи, женские слезы!.. Нашел, на что обращать внимание! У всех у нас слезки на колесках, голову наклонишь — катятся.

— Да? Спасибо за информацию, я учту. И все-таки... Нам остались какие-то минуты до пробуждения. И вот она откроет глаза и увидит, что ничего нет: ни каменного сада, ни храма, ни надежды — и она больше не избранница Южного Ветра, а просто...

— Да ты что? Это же сон! Сон, нереальность, конструкция подкорки, выдумка! Ты жалеешь бесплотный призрак: голограмма и то более реальна, чем Нирбия. Мы проснемся — и все это исчезнет, и она в том числе. Вся ее память, страдания, поступки вызваны к жизни нами... ну хорошо, мною. Нет мысли о ней — нет ее. Меня интересовала женщина, обманутая в лучших своих ожиданиях. Теперь все ясно — можно просыпаться.

— Слушай, ведь я никогда не знаю, чего от тебя ждать. Иногда ты бываешь просто жестокой. Я понимаю, что вся эта история тебе пригодится, ты ее напишешь... и никто не узнает, что ты увидела это во сне, что ты не просто выдумала Нирбию и Южный Ветер, а как бы вызвала к жизни... заставила дышать, плакать, надеяться, а теперь исследуешь. Тебе никогда не казалось, будто ты в живом ковыряешься, будто твоим фантазиям больно, пока ты ими тешишься?

— Друг мой, ты что? Не волнуйся, ради бога, а то еще проснешься прежде меня! Знаешь ведь, если в коллективном сновидении партнеры просыпаются в разное время, «Сновидец» может выйти из строя А ремонт влетит в копеечку — ой-ой!

— «Сновидец» — это! Раньше сходили с ума по телевизорам, потом по видеомагнитофонам, потом по видиодам, теперь тратят бешеные деньги на «Сновидцы». Театры себе по ночам устраивают! Сколько нам еще спать осталось?

— Девятнадцать минут тридцать секунд.

— Все, хватит с меня. Хватит. Давай-ка просыпаться. И никогда не бери меня больше в свои сны, поняла? Прошу тебя. Уж постарайся конструировать их без моего участия.

— Ну хорошо, пожалуйста, если ты так... Сейчас, сейчас начнем просыпаться. Погоди-ка, взгляну еще раз на все. Я и не задумывалась раньше! Вот она, вот храм Южного Ветра, там, дальше, пустыня, войско Уртаса-рана, безумный жрец, город Ворота Богов... Целый мир, который исчезнет, едва мы откроем глаза! Он казался реальным, живым... А сколько этих миров мною уже рождено — и убито? А если ты прав? Если они остаются? Если мечутся где-то планеты, и звезды, и судьбы, и люди, что я создала — и забыла? И Нирбия встанет живая с песка и тогда... что случится? Может быть, мы — *мы* исчезнем, как сон мимолетный и дикий,

что Нирбии снился? Может быть, *мы* — дети дремоты ее?..

— Так. Теперь ты об этом же! Хватит, говорю, фантазий! Готова? Даю «Сновидцу» сигнал о досрочном пробуждении.

Развеялся сон. Тяжелые, влажные веки Нирбия вновь подняла, огляделась... Что ж видит?! Нет ничего ни пред ней, ни вокруг, ни над нею! Куполом — небо ночное в сиянии звезд, а вместо роскошного ложа — пустыни песок безучастный. И не звенит изумрудовый лист, не цветут сердолики.

О боги, вы, что даруете сны человеку! Жестоки бывают чудачества ваши! Как же умеете вы душу в руки принять — и тут же отбросить, будто ребенок — игрушку... Чьи это игры, чьи шалости и чьи забавы Нирбию ввергли в пустыню, лишили надежды на счастье, мечту отобрали? Чьи снились ей голоса? О чем говорили они меж собою?

— Сон, только сон! Во сне целовать я хотела светлые губы, во сне ожидала любви. О скорее, скорее отсюда, из царства обмана!

Скорее отсюда?.. Где-то за стенами ночи Уртасарана полки весть о женитьбе Южного Ветра в город несут. Весть о покое и мире... И спокойно люди уснут — за месяцев много впервые, на Нирбию слепо надеясь. И вдруг появиться в Воротах Богов? Не избранницей бога — блудницей, которую выгнал сожитель? Венец новобрачной совлечь и к ногам Эсагилкиннуббиба кинуть? Дать себя растоптать, вновь низвергнуть во блуд, прозябать без любви? Не-ет... Не валяться в грязи придорожной — взлететь, даже если придется разбиться!

Скоро утро. О Иштар, госпожа и хозяйка восхода! Путь укажи мне к тому, чья глава, как у тура, гордо подъята, кто выбрал меня... Где бы он ни был, я дойду до него по песку или камню, по реке иль болоту. Даже

если над пропастью будет висеть мост из гадов ползучих, я этот мост перейду, чтоб достигнуть... Нет, милый, лёт свой тебе не надо смирять! Пусть хранит тебя бог и вперед увлекает. Я понесу свою душу птицей вослед за тобой. Вихрем косы свои до небес подниму — и ветер тебе подарю, если крылья устанут. Как бы далек ни был путь, я с него не сойду, пока мечется сердце. А умру, тень моя за тобою потянется следом. Иссушит солнцем ее — будет реять в воздухе нежность. Мимолетной прохладой усталый твой лоб осенит и напомнит о том, чего никогда не бывало... Лети! Я иду за тобою.

Шамаш с небес пылающим взором взирал на пустыню. Цепочка мелких следов за горизонт протянулась. Дымился под ветром песок — и скрывал их навеки.

СОДЕРЖАНИЕ

Волшебство не стареет (предисловие И. Семибратовой) 5
Цветица 8
Лебедь Белая 69
Чужой 138
Контакт 155
Береза, белая лисица 175
Картина ожидания 193
Сон Марии 216
Военный поход против Южного Ветра 234

ИБ № 6519

Грушко Елена Арсеньевна

КАРТИНА ОЖИДАНИЯ

Заведующий редакцией **В. Щербаков**
Редактор **Т. Журавлева**
Художник **А. Семенов**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректоры **В. Назарова, М. Пензякова**

Сдано в набор 31.10.88. Подписано в печать 20.03.89. А00855. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,2. Усл. кр.-отт. 11,55. Учетно-изд. л. 11,5. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Заказ 2563.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ, «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00989-4

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ